

Александр Степанович Грин

Шапка-невидимка



Александр Грин
Шапка-невидимка

«Public Domain»

1908

Грин А. С.

Шапка-невидимка / А. С. Грин — «Public Domain», 1908

«Измученный и полузадохшийся, дрожа всем телом от страшного возбуждения, Геник торопливо раздвинул упругие ветви кустов и ступил на дорожку сада. Сердце неистово билось, шумно ударяя в грудь, и гнало в голову волны горячей крови. Вздохнув несколько раз жадно и глубоко, он почувствовал сильную слабость во всем теле. Ноги дрожали, и легкий звон стоял в ушах. Геник сделал несколько шагов по аллее и тяжело опустился на первую попавшуюся скамейку...»

Содержание

В Италию	5
Случай	11
На досуге	16
Любимый	19
Гость	22
Апельсины	25
Карантин	30
Кирпич и музыка	49
Марат	57
Подземное	65

Александр Грин

Шапка-невидимка

В Италию

I

Измученный и полузадохшийся, дрожа всем телом от страшного возбуждения, Геник торопливо раздвинул упругие ветви кустов и ступил на дорожку сада. Сердце неистово билось, шумно ударяя в грудь, и гнало в голову волны горячей крови. Вздохнув несколько раз жадно и глубоко, он почувствовал сильную слабость во всем теле. Ноги дрожали, и легкий звон стоял в ушах. Геник сделал несколько шагов по аллее и тяжело опустился на первую попавшуюся скамейку.

Те, кто охотились за ним, без сомнения, потеряли его из виду. Быть может – это было и не так, но так ему хотелось думать. Или, вернее – совсем не хотелось думать. Странная апатия и усталость овладевали им. Несколько секунд Геник сидел, как загипнотизированный, устремив глаза на то место в кустах, откуда только что вылез.

В саду, куда он попал, перескочив с энергией отчаяния высокий каменный забор, было пусто и тихо. Это был небольшой, но густой и тенистый оазис, заботливо выращенный несколькими поколениями среди каменных громад шумного города.

Прямо перед Геником, за стволами деревьев на лужайке красовалась цветочная клумба и небольшой фонтан. Шум уличной жизни проникал сюда лишь едва слышным дребезжанием экипажей.

Надо было что-нибудь придумать. Огненный клубок прыгал в голове Геника, разрываясь и снова сжимаясь в ослепительно блестящую точку, которая плыла перед его глазами по аллее и зеленым кустам. Напряженная, почти инстинктивная работа мысли подсказала ему, что идти теперь же через ворота, рискуя, вдобавок, запутаться на незнакомом дворе, – невысказано. Сыщики гнались за ним по пятам и только после двух его выстрелов убавили шаг. Он вбежал в первый попавшийся двор, перепрыгнул стену и очутился в пустом, незнакомом саду. Он не знал даже, выходят ли ворота этого двора на ту улицу, где он оставил погоню, или же на противоположную. Но даже и в этом случае его положение было сомнительным. Квартал, наверное, был уже оцеплен.

Геник вынул револьвер и сосчитал патроны. Было семь – осталось три. Двумя он очень убедительно поговорил с городовым, побежавшим за ним. Служака растянулся лицом книзу на пыльной, горячей мостовой. Две прожужжали мимо ушей сыщика. Осталось три... Трех было очень мало...

Беспокойные мухи назойливо гудели вокруг, садились на лицо и глаза, раздражая своим прикосновением пылающую кожу. Откуда-то донесся стук ножей, запах кухни и звонкая перебранка. Нервно кусая губы и машинально рассматривая носки сапог, Геник пришел к заключению, что, пожалуй, самое лучшее для него теперь – это забраться куда-нибудь в деревянной сарай или конюшню, предоставив дальнейшее случаю...

II

Когда он поднял, наконец, глаза, маленькая девочка, стоявшая против него, рассмеялась тихим смехом. Ее руки кокетливо прятались за спиной, и светлые карие глазки в упор смотрели на незнакомца.

Есть в человеческой психике что-то, что иногда в самые важные моменты нашей жизни вдруг неожиданно направляет мысли очень далеко от текущего мгновения. Особа, стоявшая на дорожке, вдруг напомнила Генику что-то, несомненно, виденное им... Он прогнал муху, приотившуюся над его бровью, и разом поймал ускользавшее воспоминание...

...Маленькая лужайка в густом парке, окруженная сплошной стеной малинника, бузины и высоких, шумящих деревьев. Снопсы света падают почти вертикально из голубой вышины. Густая трава пестреет яркими головками лесных цветов...

Это было доисторическое время, когда земля кипела нарядными бабочками, стрекозами с прозрачными крыльями, невыносимо серьезными жуками, царевичами и трубочистами. Жить было недурно, только прелесть жизни часто отравляла особая порода, именуемая «взрослыми». «Взрослые» носили брюки навывпуск, ничего не знали (или очень мало) о существовании разрыв-травы и важнейшим делом жизни считали уменье есть суп «с хлебом»...

Все это – лужайка, мотыльки и взрослые – сверкнуло и исчезло. Жгучая, острая тоска затравленного зверя сдавила Генику грудь, и он гневно скрипнул зубами.

Сделав два шага по направлению к скамейке, на которой сидел Геник, девочка устремила на него улыбающиеся глаза и произнесла полустащенчивым, полурадостным голосом:

– Здравствуй, дядя Сережа!

– Здравствуй, – ответил Геник, машинально поворачивая в кармане барабан револьвера.

– А ты почему не приехал завтра? – продолжал ребенок, испытующе посматривая на дядю. – Мама тебя очень бранила. Она говорит, что ты какой-то деревянный!

– Мама пошутила, – медленно и внушительно сказал Геник. – Она думала, что ты умная.

А ты – глупенькая!

– Это уж ты глупенький-то! – Девочка надулась. – Не буду тебя любить!

– Вот как! Это почему?

– А ты... ты, ведь, хотел привезти железную доро-о-огу! И еще зайчика... Разве ты обманщик?

– Я был сердит на твою маму, – вывернулся Геник. – Я хотел, чтобы тебя назвали Варей, а она меня не послушала.

– Варя – это у кухарки, – заявила девочка, подступая ближе. – Она рыжая. А я Оля!

– Ну, вот. Но теперь я уже перестал сердиться. И знаешь, что я придумал?

– Нет! Какую-нибудь дрянь? – осведомилась девочка.

– Ай, какой стыд! Кто тебя научил так говорить? Вот скажу маме непременно, что учишься у Вари...

– Я не учусь! Это папа так говорит, – хладнокровно возразила племянница.

– Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! – продолжал укоризненно покачивать головой Геник.

– Ну – я не буду! Ну – скажи, что? – приставала девочка.

– А ты любить меня будешь?

– Да-а! – Оля утвердительно кивнула головой и, подойдя к Генику, сложила свои розовые пальчики на его большой сильной руке. – Ну, скажи же, скажи!

– Мы, – торжественно заявил Геник, – поедем с тобой на настоящей железной дороге!

– В Италию, – с восторгом подхватила Оля, и глаза ее мечтательно расширились.

– В Италию! Мы возьмем с собой маму м... м...

– Мы еще возьмем... возьмем вот кого! – Оля задумалась. – Мы возьмем всех, правда? И маму, и Варьку, и Ганьку, и французенку... Нет, французенку не нужно! Она злая! Она все жалуется, а пайка ее очень любит за это!..

– Вот как! Ну, мы ее тогда... оставим без обеда!..

– Во-от. Так ей и надо! – Девочка с нетерпением смотрела на Геника. – Мы едем в Италию!

– Нет! – печально вздохнул Геник. – Я и забыл, что мне нельзя ехать.

– Ну-у?! – Оля недоверчиво и огорченно раскрыла рот. – А почему нельзя? а?

Ее подвижное личико надулось, и губы обиженно задрожали, приготовляясь плакать.

Геник погладил ее по щеке и сказал:

– Я пошутил, Оля. Ехать можно, только надо купить летнюю шляпу.

– Вот такую, как у папы, – озабоченно заметила девочка. – Белую. А ты был в Италии?

– Был. Только там шляпы лучше папиной!

– Да-а, как же! У папы всегда лучше, – заявила племянница и вдруг даже подпрыгнула от радости.

– Сережа, едем! – закричала она, хлопая в ладоши. – Скорее! Я дам тебе папину шляпу – вот!

Геник привлек девочку к себе и поцеловал ее в сияющие глаза.

– Не надо, Оля, – сказал он печально. – Мама узнает, будет бранить Олю!

– Мамы нет, Сережа! Она у художника – знаешь? Плешивый!..

III

Геник не успел открыть рот для ответа, как белое платье девочки уже замелькало по направлению к дому. Через несколько мгновений топот ножек затих.

Тогда он достал из бокового кармана номер вчерашней газеты и развернул ее, смоченную потом. Сразу как-то назойливо бросилось в глаза объявление табачной фабрики с массой восклицательных знаков.

«Вызвали наряд городских, – думал он, чувствуя, как им овладевает мелкая нервная дрожь, сменившая возбуждение. – По улицам расставили шпионов. По углам сторожат конные жандармы. Телефон работает...»

Где-то, вероятно на соседнем дворе, шарманка заиграла хрипящий, жалобный вальс. Солнце поднялось над соседней крышей и заглянуло в глаза Генику. Маленькая, вертлявая птичка запрыгала по аллее и вдруг испуганно вспорхнула, увидев человека, одетого в черное, с бледным лицом. Геник проводил ее глазами и насильно усмехнулся, вспомнив Олю. Затем встал, провел рукой по пыльному лицу и огляделся.

Стена имела не менее сажени в высоту. Она охватывала сад, находившийся в задней части двора, с трех сторон. Было странно, как мог он перескочить ее без посторонней помощи. Это произошло мгновенно; как будто какой-то вихрь поднял его тело и перебросил по эту сторону. Во всяком случае, нечего было и думать повторить снова эту штуку. Всмотриваясь пристальнее в глубину сада, он заметил в отдалении легкие просветы, сквозь которые можно было видеть маленькие кусочки мощеного двора и угол каменного, многоэтажного дома.

Он снова сел и только тут заметил, что его одежда носила явные и свежие следы кирпича и извести. Схватив горсть влажной травы, он начал поспешно приводить себя в порядок, затем развернул газету и напряженно, до боли в глазах, стал вглядываться поверх ее страниц в темную глубину сада.

IV

Кровь постепенно отхлынула от сердца, но пульс бился по-прежнему неровно и часто. Станный, колющий озноб пробегал по его ногам, несмотря на июльскую жару.

Цветочная клумба пришла в движение. Немилосердно комкая дорогие цветы, белое платье Оли пронеслось вихрем и остановилось перед Геником. Лицо девочки сияло восторгом блестяще выполненной задачи: большая отцовская шляпа широким грибом покрывала ее густые русые волосы.

– Вот папина шляпа, Сережа! – заявила она, шумно переводя дыхание. – Надевай!

Она привстала на цыпочки и, прежде чем Геник успел нагнуться, торопливые детские руки сорвали его помятую, черную шляпу и нахлобучили взамен ее желтую новенькую панаму.

– Ах! – она отступила на шаг и, сложив руки, прижала их к груди, с явным восхищением поглядывая на дядю. Незаметным ударом ноги Геник подбросил под скамейку свой отслуживший головной убор.

– Ну, вставай же, поедем!

– погоди, детка, – улыбнулся Геник. – Еще поезд не пришел. Он придет скоро, скоро... и тогда... Мне еще нужно съездить по делу на часок. Потом я вернусь, и мы отправимся.

– Ну, пойдем ко мне! Я покажу тебе Зизи. Она сейчас завтракает, а потом будет кувыряться... У нее глаза болят!..

– Видишь ли, очень жарко. А в комнате еще теплее. Я даже хочу снять пальто.

Геник стащил с себя летнее черное пальто, опустил его за скамейку и остался в широком, сером пиджаке, делавшем его гораздо полнее, чем он был на самом деле и казался в своем узком пальто.

– А я сяду к тебе? – она заглянула ему в глаза. – Можно? Только ты меня усами не трогай. Папа меня всегда усами щекочет.

Болтая, она вскарабкалась к нему на колени и прижалась щекой к его боковому карману, где лежал револьвер.

– А ты хочешь какао, Сережа? Мама мне всегда велит пить какао. Оно такое противное, как лекарство!

V

Но уже кто-то, чужой и враждебный, шел из глубины сада... Мерно хрустел песок, слышалось сдержанное покашливание... Геник затаил дыхание и сунул руку за пазуху...

Два городских, с револьверами наготове, показались в изгибе аллеи. Они шли медленно и осторожно. Впереди шел дворник, плотный, невысокий мужик, широколицый, с маленькими, часто мигающими глазами.

Увидев их, Оля вырвалась из рук Геника и стремительно кинулась к дворнику. Ухватившись за его грязный передник, она запрыгала и заторопилась, путаясь и захлебываясь.

– Степан! Он приехал! Дядя Сережа! Вот он! Он меня повезет в Италию!

Наступило короткое молчание. Полицейские осматривались кругом, нерешительно порываясь двинуться дальше.

Был момент, когда, как показалось Генику, сердце совсем перестало биться у него в груди, и земля завертелась перед глазами...

– С приездом осмелюсь вас поздравить, барин, – сдержанно сказал Степан, приподнимая фуражку. – Позвольте, барышня, как бы не зашибить вас случаем!

Он бережно отстранил девочку и опустил руки по швам.

– Мы, ваше степенство, можно сказать, двор осматриваем... С Михайловской улицы из пивной видели, как тут человек к бельгийцу во двор заскочил... А окромя как через наш двор ему выскочить негде...

– Какой человек? – отрывисто спросил Геник.

– Из тюрьмы сбежал, барин, бунтарь. Вся полиция на ногах. В городского стрелял, прямо в живот угодил...

Геник поднялся во весь рост, строгий и величественный.

– Степан! – начал он медленно и внушительно, смотря дворнику прямо в глаза, – стоит мне сказать одно слово – и ты будешь немедленно уволен! Помогать охране порядка – твоя прямая обязанность! В то время, как вот они, – он указал взглядом на городских, – не жалея жизни исполняют свой долг – ты сидишь в пивной и, разинув рот, ловишь мух! Очень хорошо!

– Господи! Ужли ж я... ведь на один секунд! Ежели в этакую-то жару выпьешь единую кружку, так уж и не знаю что... Эх, барин!

Степан обиженно вздохнул и умолк.

– Иди, я не держу тебя. Впрочем – погоди. Позови извозчика – ряди в дворянское собрание...

– Хорошо-с, – сказал угрюмо Степан, надевая картуз.

Он немного потоптался на месте, и все трое удалились, переговариваясь вполголоса. Оля робко подошла к Генику и тихо сказала:

– Какой ты сердитый! А ты на меня будешь кричать?

– Нет...

– Они кого ищут? Мазурика? Да?

– Да...

– Он какой – голый?

– Да...

Геник стоял во весь рост, затаив дыхание, сжав кулаки и, как окаменелый, глядя в сторону ушедших. Когда шум шагов затих, он в изнеможении почти упал на скамью и разразился нервным, рыдающим смехом...

Испуганная девочка кинулась к нему и, напрягая все силы, сама готовая заплакать, старалась поднять его голову, опущенную на вздрагивающие руки.

– Сережа, не плачь! Сережа – я обманула тебя! Я буду тебя любить...

Громадным усилием воли Геник поднял голову и взглянул на девочку. Ее испуганные глазки беспомощно смотрели на него, пальчики трясли изо всех сил большую, загорелую руку. Вдруг Геник скорчил потешную гримасу, и Оля звонко расхохоталась.

– Ты – смешной! – заявила она. – Как клоун!

На другом конце двора послышалось дребезжание извозничьего экипажа. Геник встал.

– Прощай, Оля! – сказал он, поправляя галстук. – Я приеду к обеду и привезу тебе железную дорогу.

– И лошадку?

– Да, и лошадку. А потом мы поедем в Италию!..

– Вот как хорошо! – засмеялась девочка, идя рядом с ним. – Ты, ведь, до-о-бренький! Я с тобой всегда буду ездить!

Аллея кончалась, и перед ними блеснул чисто выметенный, мощный двор. У роскошного крыльца ожидал извозчий фаэтон. Подойдя к экипажу, Геник нагнулся и поцеловал пушистую, русую головку.

– До свидания! Будешь умница?

– Да-а!..

Он вскочил на сиденье, и экипаж с грохотом выехал на улицу.

Оглянувшись назад, Геник увидел Олю. Она стояла у железной решетки ворот, освещенная солнцем, золотившим ее густые кудри, и усиленно кивала головкой уезжавшему...

Когда экипаж поворачивал за угол, Геник оглянулся еще раз. Мгновенно мелькнуло и скрылось белое пятнышко, а ветер встрепенулся и донес слабый отголосок детского крика:

– Ведь ты приедешь, Сережа?

Случай

I

Бальсен запряг свою понурую, рыжую лошаду и, крепко нахлобучив шапку на голову, вышел со двора на улицу. Дождь уже перестал поливать землю. Густой запах навоза и гнилой сырости стоял в черном, как смола, воздухе, насыщенном теплой влагой осенней ночи. Ветер стих. В пустынной тишине темной, уснувшей улицы жалобно скрипел флюгер над крышей дома Бальсена, и в доме ярко светились два окна, озаряя грязные лужи на краю дороги. Жена Бальсена, Анна, умирала. Так думали все соседи и старуха Розе, сидевшая у больной. Но упрямая, круглая голова Бальсена не верила этому. Молодая и любимая женщина не может умереть так скоро, прожив с мужем только год и родив лишь одного ребенка. Старухи каркают зря.

Подумав так, он вошел в дом и тихо подошел к деревянной, почерневшей от времени кровати, на которой, среди подушек и одеял, широко раскинув руки, лежала больная. Бальсен смотрел на нее и удивлялся. Неужели это та самая Анна, что еще неделю тому назад пела и кричала на всю улицу? С трудом можно было этому поверить... Щеки впали; лоб, обтянутый гладкой, пожелтевшей кожей, покрылся испариной. Запекшиеся губы неровно и часто открывались, и дыхание с болезненным свистом вырывалось из груди. Вся она страшно исхудала, побледнела и сделалась такой жалкой и беспомощной.

Розе копошилась у плиты, готовя какое-то деревенское питье. Бальсен тихо потрогал жену за руку и спросил:

– Ну, как? Трудно тебе, Анна?

Молодая женщина ничего не ответила, но веки ее дрогнули и дыхание сделалось ровнее. С трудом приоткрыв, наконец, глаза, она стала смотреть перед собой неподвижным, мутным взглядом. Потом глаза снова закрылись, а губы начали шевелиться. Бальсен стиснул зубы.

– Оставь ее, Отто, оставь! – убеждающим шепотом заговорила старуха, отрываясь от плиты и поправляя под чепчиком дрожащими, коричневыми пальцами клочья седых, как вата, волос. – Нельзя ее трогать... Поезжай скорее, если ты добрый муж!

Ребенок в соседней комнате проснулся и тихо заплакал. Старуха поспешила к нему. Бальсен перевел глаза к столу, за которым его младший брат, Адо Бальсен, читал газету при свете керосиновой лампы. Зеленая тень стеклянного колпака падала на хмурое, сосредоточенное лицо юноши.

– Брось газету, Адо! – раздраженно крикнул Бальсен, и жилы вздулись на его лбу. – Вечная политика, даже тогда, когда в доме горе!.. Это вы, зеленый горох, лезете по тычине¹ к небу и валитесь вместе с ней! Брось, я тебе говорю!

Адо улыбнулся и поднял глаза на брата.

– Не сердись, Отто! – мягко сказал он. – Я не обижаюсь на тебя... Тебе тяжело; это понятно... Но чем виновата газета?

– Никто не виноват! – тяжело дыша, сказал Бальсен и заходил по комнате, круто поворачиваясь. – А чем виновата Анна, что тебе и другим дуракам вздумалось облагодетельствовать всех плутов, мошенников и лентяев на свете? Гибнут все хорошие люди!..

– Этого не может быть! – сказал юноша и упрямо встряхнул волосами. – Если бы погибли все хорошие люди, мир не мог бы существовать!..

¹ Тычина (укр.) – кол.

– Ну да! Это из книжки! А на самом деле? Где кузнец Пельт? Где Аренс, учитель? Где Мансинг, аптекарь? Один убит... А других что ждет? А что они сделали? Будь Мансинг здесь, Анна, быть может, была бы здорова...

– Отто, ты – как большой ребенок! – сказал Адо. – Ну, что бы мог тут сделать аптекарь? Все равно ты бы поехал за доктором... Тебе просто, как видно, хочется сорвать сердце на чем-нибудь!..

– Сорвать?! Молокосос ты и больше ничего!.. Что стало с краем? Еще такой год, и мы будем нищие! Мы, Бальсены!..

Истекший год оставил в Бальсене-старшем тяжелые воспоминания. Деревня обезлюдела: кто разорился, кто исчез, неизвестно куда. Нескончаемые военные постой, реквизиции, вечный страх перед кулаком и плетью... Обыски, доносы... Жизнь сделалась адом.

И Бальсен в грустные минуты вспоминал зеленые, залитые горячим светом поля, здоровье, радость труда, смех Анны, крепкую усталость, вкусную жирную еду и богатырский сон... В прошлом жилось хорошо, настоящее – ужасно и смутно; будущее – неизвестно...

И Бальсен возненавидел политику и людей, причастных к ней, перенося, как все умственно близорукие люди, свои симпатии и антипатии на предметы, непосредственно ясные для зрения. Газета, иностранное слово раздражали его. Рабочий, крестьянский ум Бальсена глядел в землю и никуда больше.

Ребенок затих, и старуха вошла в комнату шаркающей, хлопотливой поступью.

– Будет шуметь! – сказала она. – Что для вас Анна? Ваши споры вам дороже. Отто, не забудь, что до Вендена сорок верст... Лошадь поела? Поезжай, а то я выгоню тебя ухватом.

Бальсен перестал ходить и подошел к кровати. Постояв немного, он наклонился и поцеловал Анну в волосы. Больная в беспомощности шептала что-то, быстро шевеля губами. В голубых, сердитых глазах крестьянина вспыхнула затаенная мука.

– Не топчись! – ворчала Розе. – Поезжай, ну!

– Тетка Розе! – сказал вдруг Бальсен. – А что, если он не захочет?

– Ну, вот! Поедет! Иначе его покарает бог!.. А бумажку возьми с собой на всякий случай; купишь в аптеке.

Бальсен нащупал в кармане бумажку, сложенную вчетверо, на которой был написан какой-то традиционный безграмотный деревенский рецепт, вздохнул и вышел, тихо притворив дверь.

II

Дорога шла лесом. Невысокая, редкая чаща тянулась на пятнадцать верст двумя сплошными, угрюмыми стенами. Дорога была неровна и кочковата, но Бальсен не захотел ехать обычным, наезженным трактом, потому что лесной путь сокращал расстояние по крайней мере верст на десять. Во-вторых, здесь он чувствовал себя спокойнее и мог рассчитывать не наткнуться на бродяг и грабителей, расплодившихся в последнее время. Бальсен живо помнил, как пастор Кинкель приехал домой от одного больного – в нижнем белье, стуча зубами от страха и холода.

Низкие, темные облака толпились, как привидения, исчезая за черной, зубчатой извилиной лесной опушки. Тяжелые водяные капли часто хлопали, падая в рытвины, наполненные водой. Изредка ветер, внезапно прошумев над вершинами елей и сосен, стряхивал с веток целые потоки воды, и тогда казалось, что лес наполняется торопливым, смутным шепотом. Иногда раздавался слабый писк сонной птицы, легкий, осторожный треск... Вдали, в самой глубине лесного затишья, какое-то печальное и одинокое существо монотонно гудело, и его глухое «гу-у! гу-у!» выло, как ветер в трубе.

Лошадь быстро бежала, помахивая шеей, и в ее торопливом, крепком и уверенном беге было что-то успокаивающее и ободряющее. Повозка качалась и подпрыгивала на рытвинах и древесных корнях, протянувших свои кривые щупальца под тонким дерном. И Бальсену, глядевшему в черный, неподвижный мрак, казалось, что он едет в глухом, темном коридоре, уходящем в какое-то подземное царство... Тогда он поднимал голову вверх и смотрел на густые, медленно и высоко ползущие тучи.

Проехав верст десять, он остановил лошадь и вылез, чтобы поправить седелку, сбившуюся набок. Копыта перестали стучать, и колеса затихли. И в жуткой, сонной тишине лесного покоя, встревоженного только этим шумом езды одинокого человека, казалось, ничто уже больше не разбудит затишья ночи, упавшего на землю.

И дорога, предстоявшая Бальсену, показалась ему такой бесконечной, темной и тоскливой, что он снова поспешно вспрыгнул в повозку и задергал вожжами. Лошадь побежала, бойко и мерно постукивая копытами.

Сидя в повозке, Отто Бальсен думал об Анне, жизни, глупом братишке Адо и своем путешествии. Мысли его тяжело и сосредоточенно устремлялись одна за другой. Было странно и непонятно, что горе может придти внезапно и нарушить спокойное довольство трудящегося человека. С его, Бальсена, стороны не было к этому никаких поводов. Он исправно платил подати, работал прилежно, верил в бога и загробную жизнь, иногда кормил нищих и был добрым, заботливым мужем... А все же хозяйство расстраивалось, и все же Анна лежит там, в деревне, и стонет, и мучается, а он, Бальсен, едет ночью за десятки верст, рискуя большими расходами...

И мысль снова начинала вертеться в прошлом, отыскивая тайные пружины, незримые семена, взрастившие заботу и горе. Ничего не оказывалось. По-прежнему в воображении упрямо вставали желтые пышные поля, смуглые руки Анны и тишина домашнего уюта... Бальсен сердито вытянул Рыжика кнутом и выехал на опушку.

III

Лес кончился, уходя назад черной, плывущей тенью, а дорога сделалась ровнее и шире. Крестьянин вынул старинные, серебряные часы и зажег спичку. Стрелки показывали 12. Еще часа полтора езды до города, и к пяти утра он, пожалуй, успеет вернуться обратно. Шурин Андерсен с удовольствием одолжит ему одну из своих четырех лошадей. Бедный Рыжик уже устал, вероятно, так как часто взматывал головой.

И вдруг Бальсен услышал, что навстречу ему кто-то едет. В темноте раздавались дробные, перебивающиеся удары копыт и фыркание лошадей. Он потянул вожжи к себе, прислушиваясь, и решил, что едут верховые. Затем свернул с дороги на рыхлое, кочковатое жнивье и остановил Рыжика.

Топот приближался, слышался ленивый, сдержанный разговор. Рыжик вытянул шею и звонко, нетерпеливо заржал, перебирая ногами. Голоса затихли. Бальсен рассердился и ударил лошадь. Через секунду раздалось ответное, возбужденное ржание, и повозку быстро окружили темные силуэты людей, сидящих верхом, с винтовками за плечами. Их было много, и Бальсену стало ясно, что это один из казачьих разъездов, бродивших вокруг Вендена. Он сморщился, с неприятным чувством вглядываясь в казаков, но лиц не было видно в темноте. Один подъехал близко, так, что голова его лошади обдала лицо Бальсена горячим паром ноздрей, и спросил:

– Куда путь держишь, дружище?

– В город... – неохотно ответил Бальсен, нетерпеливо пожимая плечами.

– И очень тороплюсь.

– А чего же ты торопишься? – спросил другой казак и захохотал громким, резким смехом. – Дюже же ты торопишься, засева у середь поля!..

Под одним из всадников заиграла лошадь, и он, сочно выругавшись, ударил ее ногой в бок. Подъехал еще один, и по тому, как он спросил: – «Что тут?», и по тому, что казаки повернулись к нему лицом, Бальсен догадался, что это офицер. Казак, спросивший у Бальсена, куда он едет, подъехал к офицеру и начал что-то говорить ему, оглядываясь на крестьянина.

– Ты думаешь? – спросил офицер, зевая.

– Так тошно... Стоить у середь поля...

– Куда едешь? – сердито крикнул офицер.

– В город, господин начальник, – ответил Бальсен, снимая шапку. – За доктором. У меня очень больна жена...

– Откуда?

– Из Келя... Меня зовут Бальсен, Отто Бальсен...

– А есть у тебя паспорт?..

– Паспорт я забыл дома, господин начальник, – сказал Отто. – Но вы уж, пожалуйста, пропустите меня. Меня здесь знают кругом на сто верст. Я мирный человек.

Несмотря на уверенный тон, каким Бальсен давал ответы офицеру, смутная тревога, однако, сдавила ему грудь. Он вздохнул и продолжал:

– Нужда заставляет ехать в ночь, господин полковник. Очень неприятно. Я очень тороплюсь...

Офицер молчал, покачиваясь в седле, и Бальсен спросил:

– Так мне можно ехать? Меня здесь все знают...

– Нет, нельзя, – спокойно сказал офицер. – А может быть, ты не Бальсен, а? Как же это ты – без паспорта? Разве ты не читал приказа?

– Никак нет, господин полковник. Никто не читал у нас, – вздохнул Бальсен. – Со всяким может случиться ошибка, господин полковник. И я прошу вас простить меня. Мне нужно к доктору...

– А ну, общите его, ребята, – приказал офицер. – А зачем ты свернул с дороги?

– Я не знал, кто едет, господин начальник, – оправдывался Бальсен. – Теперь много разбойников.

– Вылезай! – сонно сказал казак, спрыгивая с лошади. – Прощупаем тебя.

Бальсен засуетился, вылезая из повозки и покорно расставляя руки, пока казак ощупывал его и лазил по карманам. Вынув все, что было в них: трубку, табак, бумажник, часы и бумажку старухи Розе, он передал отобранное офицеру. Другой казак зажег небольшой ручной фонарик, и при свете его, бледном и прыгающем, Бальсен увидел худое, бледное лицо офицера, склонившегося над вещами крестьянина. Офицер долго ворочал и рассматривал рецепт, затем тщательно осмотрел часы и бумажник. Еще один казак подъехал к нему и начал что-то шептать. Офицер мычал и кивал головой, изредка восклицая: «А? – Да! – А? Да-а!...»

Время тянулось для Бальсена удивительно медленно. Он пристально и внимательно следил за движениями казаков и удивился, когда один из них вытащил у товарища изо рта окуроченный папиросы. Рыжик нетерпеливо фыркнул, потряхивая дугой.

Наконец офицер сказал что-то сквозь зубы, передавая вещи Бальсена казаку, и крупной рысью скрылся в темноте. Казаки потянулись за ним. Бальсен облегченно вздохнул и сказал:

– Можно ехать?

Казак, стоявший возле крестьянина, бросил на него косой взгляд, шмыгнув носом и ничего не ответил. Понемногу уехали все, и осталось только четверо. Они переглянулись, спешили и подошли к Бальсену.

– Ну, вот что, друг, – сказал один, и Бальсену показалось, что он улыбается в темноте. Весело улыбнувшись ему в ответ, он хотел спросить, – можно ли ему наконец ехать, но казак продолжал:

– ...мы тебя свяжем. А ты стой смирно. Смотри – не вздумай тикать – застрелю!..

Он повернул Бальсена за плечо, и крестьянин, оторопев, послушно повернулся... И вдруг страшная мысль, огненным сверлом пронзив мозг, упала в душу... Он дико, отчаянно вскрикнул. Казалось, что земля уходит из-под ног и все кружится со страшной, молниеносной быстротой.

– Не прыгай, до города далеко, – апатично сказал казак, сидевший верхом. – Что толку? Все равно, брат, помирать когда-нибудь...

– За что?! – закричал Бальсен, и заплакал. – Меня все!.. Я Отто Бальсен!..

– Сам знаешь, за что, – угрюмо ответил казак. – Начальство, дядя, распоряжается, а не мы... Очень разумные. Вот за это самое.

Бальсен застыл, и казалось ему, что все мысли умерли в нем и сам он умер... А, быть может, это сон... Все сон: сырая, пронизывающая сырость осенней ночи, рыхлая земля под ногами, Рыжик, опустивший голову, и эти замолкшие, темные фигуры людей, отдалившихся от него... Это бывает, и Отто вспомнил страшные кошмары, когда, проснувшись в теплой, темной комнате, облегченно вздыхаешь, натягивая одеяло, и поворачиваешься, засыпая вновь...

В голове его пестрым, разноцветным узором пробежали вдруг грядки небольшого огорода, сокровища Анны. Упругая, светло-зеленая капуста, темный стрелчатый лук, белые цветочки картофеля и желтые огуречные... Все это было, и всего этого не будет. И сам он, Отто Бальсен, Бальсен, которого знают на сто верст кругом, куда-то исчезнет, и никто не будет знать и никогда не узнает, почему так вышло...

И снова мысль упала в прошлое, и снова перед Бальсеном сверкнули желтые, пышные поля и смуглые руки Анны. И снова было непонятно, почему теперь явились сильные, злые, вооруженные люди, взяли его и убили...

Он безотчетно рванулся вперед, но, сделав два-три шага, споткнулся и сел со связанными руками на сырую, вязкую землю. Казак, сидевший на лошади, заметил:

– Ослаб. Пугается...

– Я видал, – сказал другой. – А видал и таких, которые смелые. Есть тоже из ихнего брата...

Гнев и отчаяние окончательно овладели Бальсеном. Он хотел крикнуть и не мог. Казалось, еще немного, и он проснется... Еще, одно, еще последнее усилие...

– Не копайся, Данило, – сказал верховой. – Вы, черти!.. Чего томить человека?!

Темные фигуры отошли на несколько шагов и остановились. Бальсен видел, как сверкнули длинные красные огоньки, и острая, тянущая боль стеснила ему дыхание. Падая, он увидел свой дом, светлую комнату, Адо, склонившегося над газетой, и больную, любимую Анну...

Затем все исчезло.

На досуге

Начальник еще не приходил в контору. Это было на руку писарю и старшему надзирателю. Человек не рожден для труда. Труд, даже для пользы государственной – проклятие, и больше ничего. Иначе бог не пожелал бы Адаму, в виде прощального напутствия, «есть хлеб в поте лица своего».

Мысль эта кстати напомнила разомлевшему писарю, что стоит невыносимая жара и что его красное, телячье лицо с оттопыренными ушами обливается потом. Задумчиво вытащил он платок и меланхолично утерся. Право, не стоит ради тридцатирублевого жалования приходить так рано. Годы его – молодые, кипучие... Сидеть и переписывать цифры, да возиться с арестантскими билетами – такое скучное занятие. То ли дело – вечер. На бульваре вспыхивают разноцветные огни. Аппетитно звякают тарелки в буфете и гуляют барышни. Разные барышни. В платочках и шляпах, толстые, тонкие, низенькие, высокие, на выбор. Писарь идет, крутит ус, дергает задом и поигрывает тросточкой.

– Пардон, мадмуазель! Молоденькие, а в одиночестве... И не скучно-с?..

– Хи, хи! Что это, право, за наказание!.. Такие кавалеры, а пристаете!..

– А вы, барышня, не чопуритесь!..² Так приятно в вечер майский с вами под руку гулять!..

И так приятно чай китайский с милой сердцу распивать-с!..

– Хи, хи!..

– Хе-хе!..

Легкие писарские мысли нарушены зевотой надзирателя, старой тюремной крысы, с седыми торчащими усами и красными, слезящимися глазками. Он зевает так, как будто хочет проглотить всех мух, летающих в комнате. Наконец, беззубый рот его закрывается и он бормочет:

– А уголь-то не везут... Выходит, что к подрядчику идти надо...

С подрядчиком у него кой-какие сделки, на почве безгрешных доходов. Вот еще дрова – тоже статья доходная. На арестантской крупе да картошке не разжиреешь. Нет, нет – да и «волынка», бунт. Не хотят, бестии, «экономную» пищу есть. Так что с перерывами – подкормишь, да и опять в карман. Беспокойно. То ли дело – дрова, керосин, уголь... Святое, можно сказать, занятие...

Часы бьют десять. Жар усиливается. В решетчатых окнах недвижно стынют тополи, залитые жарким блеском. Кругом – шкафы, книги с ярлыками, старые кандалы в углу. Муха беспомощно барахтается в чернилах. Тишина.

Сонно цепенеет писарь, развалившись на стуле, и разевает рот, изнемогая от жары. Надзиратель стоит, расставив ноги, шевелит усами и мысленно усчитывает лампадное масло. Тишина, скука; оба зевают, крестят рты, говорят: «фу, черт!» – и зевают снова.

На крыльце – быстрые, мерные шаги; тень, мелькнувшая за окном. Медленно открывается дверь, визжа блоком. Тщедушная фигура рассыльного с черным портфелем и разносной книгой водворяется в канцелярию и обнажает вспотевшую голову.

– От товарища прокурора...³ Письма политическим...

Тишина нарушена. Радостное оживление оскаливает белые, лошадиные зубы писаря. Перо бойко и игриво расчеркивается в книге, и снова хлопает визжащая дверь. На столе – небольшая кучка писем, открыток, измазанных штемпелями. Писарь роется в них, подносит к глазам, шевелит губами и откладывает в сторону.

² Чопуритесь – здесь: от чопорный, строго соблюдающий правила приличия.

³ Товарищ прокурора – в дореволюционной России слово «товарищ» в соединении с названием должности обозначало понятие «заместитель».

– Вот-с! – торжественно восклицает он, небрежно, как бы случайно подымая двумя пальцами большой, синий конверт. – Вот-с, вы, Иван Палыч, говорили, что отец Абрамсону не напишет! Я уж его почерк сразу узнал!..

– Что-то невдомек мне, – лениво зеваает надзиратель, шевеля усами: – что он писал у в прошедший раз?..

– Что писал! – громко продолжает писарь, вытаскивая письмо. – А то писал, что ты, так сказать – более мне не сын. Я, говорит, идеи твои считаю одной фантазией... И потому, говорит, более от меня писем не жди...

– Что ж, – меланхолично резонирует «старший», подсаживаясь к столу. – Когда этакое сопротивление со стороны своего дитя... Забыв бога, к примеру, царя...

– Иван Павлыч! – радостно взвизгивает писарь, хватая надзирателя за рукав. – От невесты Козловскому письмо!.. Ну, интересно же пишут, господи боже мой!..

– Значит – на прогулку сегодня не пойдет, – шурится Иван Павлыч. – Он этак всегда. Я в глазок⁴ сматривал. Долго письма читает...

Писарь торопливо, с жадным любопытством в глазах, пробегает открытку, мелко испанную нервным, женским почерком. На открытке – заграничный вид, лесистые горы, мостики, водопад.

– В глазок сматривал, – продолжает Иван Павлыч и шурится, ехидно усмехаясь, отчего вваливается его беззубый, черный рот и прыгает жиденькая, козлиная бородка. – Когда плачет, когда смеется. Потом прячет, чтобы, тово, при обыске не отобрали... Свернет это мелконько в трубочку – да и в сапог... Смехи!.. Потом, значит, зачнет ходить и все мечтает... А я тут ключами – трах!.. – «На прогулку!» – «Я, говорит, сегодня не пойду»... – «Как, говорю, не пойдете? По инструкции, говорю, вы обязаны положенное отгулять!» – Раскритится, дрожит... Сме-ехи!..

– «Ми-лый... м... мой. Пе... тя...» – торжественно читает писарь, стараясь придать голосу натуральное, смешливое выражение. – Про-сти-что-дол-го-не-пи-са-ла-те-бе. Ма-ма-бы-ла-боль-на-и...

Писарь кашляет и подмигивает надзирателю.

– Мама-то с усами была! Знаем мы! – говорит он, и оба хохочут. Чтение продолжается.

– ...бу-ду-те-бя-жда-ать... те-бя-сош-лют-в-Сибирь... Там-уви-дим-ся... При-е-хать-же-мне, сам знаешь, – нель-зя...

– Врет! – категорически решает Иван Павлыч. – Что ей в этом мозгляке? Худой, как таракан... Я карточку ейную видел в Козловского камере... Красивая!.. Разве без мужика баба обойдется? Врет! Просто туману в глаза пуцает, чтобы не тревожил письмами...

– Само собой! – кивает писарь. – Я вот тоже думаю: у них это там – идеи, фантазии всякие... А о кровати-то, поди – нет, нет – да и вспомнят!..

– Что барская кость, – говорит внушительно Иван Павлыч, – что мещанская кость, – что крестьянская кость. Все едино. Одного, значит, положения природа требует...

– Жди его! – негодуяще восклицает писарь. – Да он до Сибири на что годен будет! Измочалится совсем! Будет не мужчина, а... тьфу! Ей тоже хочется, небось, ха, ха, ха!..

– Хе-хе-хе!.. Любовь, значит, такое дело... Бе-е-ды!..

– Вот! – писарь подымает палец. – Написано: «здесь мно-го-инте-рес-ных-людей»... Видите? Так оно и выходит: ты здесь, милочек мой, посиди, а я там хвостом подмахну!.. Ха-ха!..

– Хе-хе-хе!..

– Какая панорама! – говорит писарь, рассматривая швейцарский вид. – Разные виды!..

⁴ Глазок – круглое отверстие в дверях камеры.

– Тьфу!.. – Надзиратель вскакивает и вдруг с ожесточением плюет. – Чем люди занимаются! Романы разводят!.. Амуры разные, сволочь жидовская, подпускают... А ты за них отвечай, тревожься... Па-а-литика!..

Он пренебрежительно щурит глаза и взволнованно шевелит усами. Потом снова садится и говорит:

– А только этот Козловский не стоит, чтобы ему письма давать... Супротивнее всех... Позавчера: «Кончайте прогулку», – говорю, время уж загонять было. – «Еще, говорит, полчаса и не прошло!» – Крик, шум поднял... Начальник выбежал... А что, – меняет тон Иван Павлыч и сладко, ехидно улыбается, – ждет письма-то?

Писарь подымает брови.

– Не ждет, а сохнет! – веско говорит он. – Каждый день шляется в контору – нет ли чего, не послали ли на просмотр к прокурору...

– Так вы уж, будьте добры, не давайте ему, а? Потому что не заслужил, ей-богу!.. Ведь я что... разве по злобе? А только что нет в человеке никакого уважения...

Писарь с минуту думает, зажав нос двумя пальцами и крепко зажмурившись.

– Чего ж? – роняет он, наконец, небрежно, но решительно. – Мо-ожно... Картинку себе возьму...

В камере палит зной. В решетчатом переплете ослепительно сверкает голубое, бесстыжее небо.

Человек ходит по камере и, подолгу останавливаясь у окна, с тоской глядит на далекие, фиолетовые горы, на голубую, морскую зыбь, где растопленный, золотистый воздух баюкает огромные, молочные облака.

Губы его шепчут:

– Катя, милая, где ты, где? Пиши мне, пиши же, пиши!..

Любимый

I

Яков, или Жак, как мы звали его, пришел ко мне веселый, шумно распахнул дверь, со стуком поставил трость, игриво отбросил шляпу, энергично взмахнул пышной, каштановой шевелюрой, улыбнулся, жизнерадостно засмеялся, вздохнул, сел на стул и сказал:

– Поздравь!

– Поздравляю! – с любопытством ответил я. – Что? Выиграл?

– Хуже!

– Дядя умер?

– Хуже!

– Тогда не знаю. Расскажи.

– Женюсь! – выпалил он и расхохотался. – Влюблен и женюсь! Вот тебе!..

Я развел руками и пристально посмотрел в его лицо. Жак, мой приятель Жак, завсегда у веселительных мест, театров и кафе, был трезв, глядел на меня ясными, голубыми глазами и вовсе не обнаруживал стремления закричать петухом. В таких случаях принято говорить: «рад за тебя, дружище», или – «ну, что же, дай бог». Я предпочел первое и сказал:

– Очень радуюсь за тебя.

– Еще бы ты не радовался, – самоуверенно заявил он, переворачивая стул и усаживаясь на него верхом. – Ты должен – слышишь? – ты обязан с ней познакомиться... Она – чудо: ангел, добрая, милая, хорошенькая, – прелесть, а не женщина! Восторг, а не человек!..

– Хм!..

– Да! Но сознаешь ли ты, почему я выхожу за... то есть почему я женюсь? Я смертельно ее люблю! Я обожаю ее... ах, Вася!.. Ну, ты увидишь, увидишь!..

В его захлебывающихся словах звучало искреннее чувство, а глаза сделались влажными, и от этого в моей душе, душе старого холостяка, что-то зануло. Не то грусть, не то зависть; может быть, также сожаление о Жаке, терявшем с этого дня для меня свою ценность, как непоседы и собутыльника. Вздохнув, я побарабанил пальцами и спросил:

– Как же это так скоро? Ведь еще на прошлой неделе мы ночевали у этой очарова...

– Ах, да молчи! – Жак зажмурился и сжал губы. – Пожалуйста, не вспоминай... Я стараюсь не думать больше о... о... этом... Нет, решено: я люблю и буду порядочным человеком!

– Да?! – сказал я. – Я в восторге от тебя, Жак. Но расскажи же, как, что?.. Все это так неожиданно.

Жак воодушевился и в пылких, бессвязных словах изложил мне историю своей любви. На прошлой неделе у знакомых он встретился с удивительным и т. д. существом, остолбенел с первого взгляда, стал ухаживать при лунном свете, говорить о сродстве душ, вздыхать, таять, забывать есть, словом, проделывать все то, что принято в таких случаях. А через пять дней упал на колени, рыдая, целовал ее ноги и получил согласие.

«Что же? – размышлял я, – Жак не очень глуп, красив, богат, с добрым сердцем... Дай ему бог».

– Она, – рассказывал Жак, – дочь состоятельного чиновника, кончила гимназию, а теперь мечтает поступить в консерваторию. Ведь это хорошо – в консерваторию? – вспотев и блаженно улыбаясь, спрашивал он меня. – В консерваторию! Ты подумай... Поедет в Петербург, слава, оvationи, ну... Одним словом!

– Хм!

– Ты увидишь, Вася!.. Ах, слушай, ну, ей-богу же, это удиви... это ангел... Вася, милый!..
– Милый Жак, – грустно сказал я. – Я... растроган... я... будь счастлив... будь...

Нервы Жака не выдержали. Он вскочил со стула, опрокинул курительный столик, бросился мне на шею и выпустил лишь минут через пять, оглушенного и полузадушенного. На щеке моей еще горели следы его поцелуев, слез, а жилет и усы запахла бриллиантином. Я отдышался, пришелся в себя и вытер лицо платком.

– Бегу! – Жак стремительно сорвался и затрепетал. – Бегу к ней... опоздаю... Ну... – он схватил мою руку и стал калечить ее... – Ну... ты понимаешь... я не могу... я... прощай!

– Слушай, – сказал я, – когда же я увижу...

– Ах, да... Какой я дурак! Дорогой Вася... сегодня, в театр, мы там, то есть я... и она, конечно, с мамой и дядей... Ну, жму тебе... руку... прощай!..

В одно мгновение он схватился за ручку двери, отдал мне ногу; шляпа как-то сама вспрыгнула ему на голову, и Жак исчез, оставив после себя опрокинутый столик, рассыпанные сигары и забытую трость.

II

Пробило восемь.

Что же еще взять с собой? Портсигар, бумажник, платок, анисовые лепешки – все здесь. Ах, да! Маленький цветок в петлицу. Жак будет этим доволен. Приятно видеть желание друга понравиться моей избраннице. Я выдернул из букета камелию, и она вспыхнула на сюртуке. Итак – еду. Некоторые говорят, что грустно быть холостяком... Д-да... с одной стороны...

Кучер быстро доставил меня к подъезду театра. В ярко освещенном зале я увидел Жака; он сиял в третьем ряду кресел, и его ослепительный жилет ярко оттенял розовое, счастливое лицо своего владельца. Рядом две дамы, но трудно разглядеть издали. Я подошел ближе и раскланялся.

Да – она хороша, бесспорно. У Жака есть вкус. Маленькая, золотистая блондинка, матовая кожа овального личика и темные, грустные, как вечерние цветы, глаза. Нежные губы озарены тихой, приветливой улыбкой.

Она медленно поправила маленькой, гибкой рукой трэн⁵ белого, с кружевной отделкой платья, и села удобнее, переводя взгляд с Жака на меня и обратно.

Скверно, что мамаша была тут, рядом с ней, в противном случае я мог бы присесть ближе к фее и незаметно поволноваться. О, эта мамаша с двойным подбородком, крикливая и пестрая, как попугай! Этот острый материнский взгляд!.. Но дядя показался мне крайне милым человеком. Он молчал, блестел лысиной, бриллиантовыми перстнями и приятно улыбался.

Когда я был представлен, рассмотрен и усажен, то сказал вполголоса, но довольно внятно:

– Жак! Завидую тебе... Счастливчик!..

Она улыбнулась радостно, вспыхнув и дрогнув углами глаз. Он – самодовольно, с оттенком пошлости. Дядя сказал:

– Когда я был в Бухаре...

После этого он приятно улыбнулся и смолк, потому что Жак начал рассказывать нечто необъяснимое. Из его слов я мог лишь понять, что есть погода, театр, что он любит всех людей и завтра купит новую лошадь. Когда он кончил, дядя сказал:

– Я, видите ли, был в Бухаре и...

Но ему помешал оркестр. Грянул залихватский марш, и дядя, приятно улыбнувшись, окаменел в задумчивости. Мамаша крикнула, томно закатывая глаза:

– Ах, я обожаю военную музыку! Это моя слабость!..

⁵ Трэн (франц. traine) – шлейф у женского платья.

– А вы, – спросил я девушку, – вы любите драму?

Фея повернулась ко мне, и было видно, что она не понимает вопроса. Мысли ее были не здесь, а в пространстве, где плавают розовые будуары, усы, резные буфеты и любовь. Я повторил вопрос.

– Да... люблю... конечно, – серьезно сказала она и тихо повторила, смотря на занавес:

– Люблю...

К театру ли относилось последнее слово? Не знаю.

III

Прежде чем случилось несчастье и сознание хлынувшего ужаса потрясло мозг, – что-то больно зазвенело в груди и дрогнуло там острым, разбившимся криком. Это наверху, с галерей, раздался шум, треск скамеек и пронзительный остервенелый вопль:

– Гори-и-им!!

Что-то быстро и звонко переломилось в душе, – граница между сознанием и паникой. Казалось, рухнули стены и знойный вихрь всколыхнул воздух.

Бешеное стадо с ревом заколебалось вокруг, топча и опрокидывая все на пути. Оно бесмысленно лезло во все стороны, цепляясь, с плачем и проклятиями, за рампу, мебель, стены, волосы женщин, царапаясь и кусаясь, прыгая сверху с грохотом и воплями. И так же ярко, ровно горело электричество, заливая уютным светом мятущуюся толпу фраков, мундиров, причесок, голых плеч и белых, безумных лиц. Хохот помешанных летел в уши, слезливый и бессильный. Все трещало и стонало, как роща в напоре ветра.

Фея бросилась к Жаку и, теряя сознание, вцепилась пальцами в складки его жилета. Жак грузно подвигался вперед, задыхаясь от тяжести. Лицо его мертвело; одной рукой он отбрасывал прочь девушку, другую протягивал вперед и каждый палец этой руки кричал о помощи.

У меня закружилась голова. Я закрыл глаза и через мгновение открыл их, оглушенный, удерживая изо всех сил свое тело, готовое помчаться с воем по головам других. Пальцы мои впились в бархатную отделку барьера и разодрали ее. Девушка лежала в двух шагах от меня, скованная обмороком, руки стиснуты в кулачки, грудь замерла. Кто это – дядя? Нет, это сумасшедший. Он стоит, топают ногами и сердится, а скулы его дрожат, прыгает нижняя челюсть, и одной рукой он трет себя по спине...

– Где Жак?

В хаосе звуков далеким воспоминанием мелькнули длинные руки Жака, с бешенством отбросившие прочь маленькое, кружевное тело. Тело стукнулось, а лицо окаменело в испуге. Потом закрылись глаза, сознание оставило ее.

Забыв о маме и дяде, я схватил фею на руки и кинулся вперед. В тылу плотно сбившихся, обезумевших затылков, в самом водовороте животной драки я столкнулся с Жаком и взглянул на него. Это было не лицо... Отвратительный, трясущийся комок мяса, и слюни, текущие из раскисшего рта... о! Я плюнул в этот комок и с бешенством страха ударил Жака ногой в живот. Взгляд его скользнул, не узнавая, по мне. Он прыгал, как курица, на месте, стараясь вылезть на плечи других, но каждый раз обрывался и всхлипывал.

Все – паника и давка – кончилось после нескольких упорных, звонких, умышленно-ленивых окриков сверху:

– Господа, стыдно! Пожара нет!..

Гость

I

Я пришел по делу к товарищу и застал его читающим свежий номер революционного журнала «Красный Петух». Он сидел перед столом, грыз ногти, обдумывая кипучую аргументацию автора передовой статьи, направленной против социал-демократов, и был так погружен в это занятие, что не заметил моего прихода. Я хлопнул его по плечу, он вскочил, уронил очки и сейчас же успокоился.

– Чего вы ходите, как кошка?! Смотрите, что пишут мерзавцы социал-демократы! Идиоты! Туполобые марксисты! Антиколлективистические черепа! Вороны! Кукушки!

Он, вероятно, еще долго бы ругался, огорченный поведением друзей из марксистского лагеря, если бы я кротко не заметил разгоряченному и вспотевшему человеку:

– Не стоит волноваться, Ганс. Бросьте их.

– Вы думаете? Ведь что возмутительно...

– Ганс, как быть с забастовкой? Нужно собраться еще раз. Дело в том, что социал-демократы не желают бастовать одновременно с нами! А это может внести раскол. Если мы назначим завтра – они забастуют послезавтра; если решим бастовать послезавтра – они бросят работу завтра. Все это с целью представить нас партией, не имеющей реальной силы. Очень интересно!..

Ганс вытянул на столе свои мускулистые, волосатые руки и сморщился. Потом, откладывая в сторону «Красного Петуха», сказал:

– Я же говорил, что они мерзавцы! В Э 00 «Искры», страница пятая...

– Отложите на время «Искру». Что сейчас делать, а?

– Что делать? А... знаете, мы соберемся и... вот, все это обсудим... Но, ведь, еще Каутский⁶ в «Аграрном воп...»

– Ганс?!

– А? Да... Но, видите ли, я не могу равнодушно... Третий том «Капитала»...

– Слушайте, ведь это же из рук вон! Я уйду, или давайте говорить о деле!..

В комнате было сумрачно и прохладно, а в окна глядел июль, жаркий, пыльный, грохочущий. Я ожесточенно доказывал, что нужно устроить собрание комитета сейчас же, немедленно, что мы не можем идти «в хвосте» и т. д. Ганс слушал и утвердительно кивал головой. Когда я кончил и перевел дух, он подвинул к себе пепельницу и, стряхивая папироску, сказал:

– Да-а... Между прочим: последняя статья в «Фабричном Гудке»... Читали вы? Проклятые социал-демократы пишут...

Я не успел рассердиться, так как за дверью раздались тяжелые, мерные шаги и незнакомый голос спросил:

– Позвольте войти?

Болван Ганс, вечный книжный червь Ганс сказал: – «Войдите!» – раньше, чем я успел спрятать злополучного «Красного Петуха». Он так и остался лежать на столе, в раскрытой книге, и на обложке его крупными буквами было напечатано черным по белому: «Красный Петух»...

Что ж? Пусть входят чужие и смотрят, как повергаются в прах основные законы конспирации. Если Ганс желает когда-нибудь попасть впросак таким образом, – его дело.

⁶ Каутский, Карл (1854–1938) – один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и 2-го Интернационала, идеолог централизма.

Когда отворилась дверь и тихо, конфузливо улыбаясь, вошел молодой полицейский офицер, – я быстро развернул альбом с фотографиями и, глядя на усатое лицо какого-то господина, успел сказать:

– Что за пикантная женщина!

– Здравствуйте, г-н Гребин... – быстро, мельком оглядываясь, заговорил посетитель. – Собственно говоря, я вас побеспокоить пришел насчет маленького дельца...

Он нерешительно, неловким движением протянул руку, как бы опасаясь, что она повиснет в воздухе. Ганс густо покраснел и, растерявшись, пожал ее. В мою сторону полисмен ограничился чрезвычайно учтивым поклоном и продолжал:

– Видите ли – суть эта самая, так сказать, – такая... г-н пристав просит вас пожаловать к нему сегодня. Вот повесточка... Будьте так добры – расписаться.

– Садитесь, чего же вы стоите? – процедил Ганс.

Небрежно, стараясь казаться беззаботным и непринужденным, он подвинул стул, и полицейский со словами: «Благодарствую, воспользуюсь вашей любезностью», – боком присел к столу. Раскрытая книга с номером «Красного Петуха» лежала перед его глазами. Я стиснул зубы, мысленно обливая Ганса ушатом отборной брани, и стал разглядывать посетителя.

У него было худое, продолговатое лицо, рыжеватые усики, часто мигающие светлые глаза и белые, коротко стриженные волосы. Одной рукой он механически дергал португепю шашки, выпячивая грудь, другой уперся в колено и застыл так, рассеянно оглядывая стол. Через мгновение глаза его остановились на развернутой книге, метнулись и замерли, прикованные крупным, ясным заглавием журнала.

Взволнованный Ганс ожесточенно ткнул пером в повестку и прорвал бумагу.

– Леший! – вскричал он, – перо не годится. Не пишет. Дайте-ка ваш карандашик... Есть у вас?

Он повернулся ко мне и, пока я вынимал из записной книжки карандаш, полицейский смущенно перебежал взглядом с затылка Ганса на обложку журнала. Потом медленно, осторожно закрыл книгу и вытянул ноги, рассматривая потолок комнаты.

– Карандашиком, знаете, неудобно... – виновато протянул гость. – Уж будьте добры – чернильцами...

– Не искать же мне сейчас перьев, – недоумевающе буркнул Ганс. – Да и не знаю, где они. Как же быть?

– А вы... того... – оживился полицейский, улыбаясь и взглядывая на меня, – карандашик в чернильца обмакните и таким манером распишитесь...

– А ведь в самом деле! – рассмеялся Ганс. Затем он спросил:

– Зачем меня просят в участок?

– А... так, пустяковина. Насчет подписки о невыезде.

– А-а... ну, вот-с, получите...

Полицейский встал.

– Так до свидания, – сказал он, надевая фуражку. – Будьте благополучны...

– Вам того же...

Он вышел, тихо притворив дверь.

– Вот дубина! – сказал Ганс, подмигивая мне и весело потирая руки, – ведь тут около него лежал номер «Красного Петуха»! Вы взяли его? Я думаю, что он не заметил, а?

II

На другой день началась забастовка. Я проснулся рано, с смутным предчувствием наступающих событий, но ни тревога, охватившая меня в первую же минуту пробуждения, ни сознание важности момента не могли уничтожить яркого, солнечного блеска и зеленого шума ста-

рых лип, смотревших в окно. Наскоро, обжигаясь, я выпил чай и вышел, охваченный жутью тревожной атмосферы.

Улицы, залитые светом, были пусты и тихи: лавки и магазины закрыты. Кое-где мелькали бледные, озабоченные лица блузников. С грохотом и звоном проскакала казацкая сотня в белых, запыленных рубахах; прошел тяжелый, медленный взвод городских. В отдалении стояли гудки бастующих фабрик и заводов.

Путь мой лежал через городской сад. И здесь, как на улицах, было пусто. Оживленно щебетали птицы; пробежал мальчик, размахивая газетами, прошел сторож с лейкой. Вдруг, впереди, за крутым поворотом тенистой аллеи раздались крики, топот, и на площадку выскочил молодой бледный рабочий, без шапки, в синей, разорванной блузе, с окровавленным, вспотевшим лицом. Он, задыхаясь, бежал к кустам крупными, изнемогающими шагами. Голубые, отупелые от страха глаза беспомощно металась вокруг.

В двух шагах от него, размахивая обнаженной шашкой и заливаясь трелью полицейского свистка, бежал мой вчерашний знакомец, весь красный от злобы и напряжения. Он, видимо, нагонял рабочего. Еще далее, нелепо размахивая локтями и отставая, топали тяжелыми сапожищами двое городских.

Я посторонился. Рабочий, без сомнения, изнемогал. Пробежав еще несколько шагов, он вдруг остановился, прижимая руки к груди, шатаясь и выпучив глаза. В тот же момент полицейский подскочил к нему, размахнулся и наотмашь ударил кулаком в шею.

– Беги, сукин сын, беги! – зашипел он, замахиваясь шашкой.

Бедняга ткнулся в кусты и механически, полусознательно отбежал вперед. Потом судорожно вздохнул и, собрав последние силы, пустился бежать, что есть мочи, к выходу. Полицейский, обессиленный, крупными, быстрыми шагами шел следом, свистел и кричал протяжным, усталым голосом:

– Держи-и-и! Держи-и-и!..

Подоспели городские. Предводитель остановился, вынимая носовой платок.

– Убежал, собака! – сказал он, снимая фуражку и вытирая вспотевшую голову.

Апельсины

I

Брон отошел от окна и задумался. Да, там чудно хорошо! Золотой свет и синяя река! И синяя река, широкая, свободная...

Свежий весенний воздух так напирал в камеру, всю вызолоченную ярким солнцем, что у Брона защекотало в глазах и подмывающе радостно вздрогнуло сердце. Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет, как сон, и он увидит вблизи синюю, холодную пучину реки, ее вздрагивающую рябь. Увидит все... Как молодой орел он взмлет, освобожденный в воздушной пустыне и – крикнет!.. Что? Не все ли равно! Крикнет – и в крике будет радость жизни.

Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое, потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими, сбившимися волосами. Тонкая, жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной, ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался.

Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало, как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте у окна перед ним сверкал большой четырехугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали как беспокойные птицы, что у реки, над бархатом камышей, поминутно вспархивают и кружатся с резким, плачущим криком.

II

Вдвойне неприятно сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто заведует гостиницей с железными занавесками.

Так думал Брон, и злое, гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал «товарищем», а теперь не потрудится написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался «свирепо» – по его выражению. В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимое условие его существования. Но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно.

Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми, бесчисленными глазами, и ее ленивые, певучие звуки дразнили и нежили. Синяя река дрожала золотыми блестками; внизу, глубоко под окном, как шаловливые дети, лепетали молодые, зеленые березки.

«Тяжело сидеть весной, – подумал Брон и вздохнул. – Третья весна в тюрьме...»

И он подумал еще кое-что, чего не решился бы сказать никому, никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа были большие, темные глаза и нежное, продолговатое лицо...

– И это ушло... Ради чего? Да, – ради чего? – повторил он. – Несчастливая, рабская страна...

Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего; подавил мгновенную боль, сел и раскрыл «Капитал». Сухие, математически ясные строки понеслись перед глазами, падая в какую-то странную пустоту, без следа, как снежинки. И от этих безжалостных строк, ядовитых, как смех Мефистофеля, неутомимых и спокойных, как бег маятника, – ему стало скучно и холодно.

III

Брякнул ключ, и с треском откинулась форточка в слепой, желтой двери. В четырехугольном отверстии появились щетинистые усы, пуговицы и бесстрастный, хриплый голос произнес: – Передача!..

Сперва Брон не сразу сообразил, что слово «передача» относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно-взволнованный Брон поспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. Чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки и апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровища, неожиданно свалившиеся в форточку. И оттого, что день был тепел и ясен, и оттого, что неожиданная забота незнакомого человека приласкала его душу, – ему стало очень хорошо и весело.

«Ну, кто же мог прислать? – соображал он. На мгновение образ с темными глазами выплыл перед ним, но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера. – Н-нет... Впрочем, сейчас увижу. Если есть записка – значит, это кто-нибудь из своих»...

И он начал торопливо рыться в провизии. Ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брон принялся ожесточенно обдирать ярко-красный апельсин, и вдруг из сердцевины фрукта выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть плода и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец.

«Вот она. Какая маленькая! Однако хитро придумано!..»

Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона.

«Товарищ! – гласила записка. – Я узнала случайно, что Вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес – В.О. 11 л., 8. – Н.Б. Вам, должно быть, ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Ну, не буду дразнить, до свидания, если что нужно – пишите. Н.Б.»

И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, перестукиваясь с соседом, он просил передать на «волю», что ему очень нужны предметы первой необходимости. Теперь стало ясно, что передачу и записку принес кто-нибудь из... Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать, и стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Письмо вышло большое и подробное, причем он не упустил случая щегольнуть остроумием. А под конец письма слегка «прошелся» по адресу кадетов, назвав их «политическими недоносками» и «фальстафами». И, уже кончив писать, – вспомнил, что пишет незнакомому человеку.

«А все же пошло, – подумал Брон, успокаивая себя еще тем соображением, что ответ – долг вежливости. – Скучно же так сидеть...»

Так подумал Брон, стоявший среди камеры с апельсином в одной руке. Второй же Брон, сидевший где-то глубоко в Броне первом, сказал:

– Как приятно, когда о тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной, дружеской заботы...

Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось, Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все казалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал» и между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму.

IV

Четверг был снова днем свиданий и передач, и Брон опять получил бумажный пакет с снедью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец; Н. Б. писала, что письмо его получено и ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнения в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний.

«...Я прочитала Ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы Вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают Вас! Мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу Вам это? Не знаю. Н. Б.»

Брон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо, в котором объяснял, что «страдания „их“ – ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. Очень Вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше. Брон».

Раскрывая на сон грядущий Гертца и следя засыпающей мыслью за чистенькими статистическими таблицами, Брон решил, что Н. Б. – высокого роста, тоненькая брюнетка, в широкой шляпе с синей вуалью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять «оппортуниста» Гертца.

V

Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон всегда с нетерпением, не глядя в себя, ожидал записок, в свою очередь, посылая большие, подробные письма, в красивой, грустной форме заключавшие его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы ласкала его душу, как отдаленная музыка. И чувствуя, но плохо сознавая это, он с каждым днем чувствовал все сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решеткой жизни, контраст синей реки, окрыляющего пространства и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным, сгорбившимся человеком внутри...

Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере Брона становилось тесно от светлых, как хрустальные брызги, мыслей, набросанных на узкой полоске бумаги торопливой, полудетской рукой. Девушка писала Брону, что и ей тесно жить, что, чувствуя себя как в тюрьме, в мире, полном грязного, тупого самодовольства, она рвется на борьбу с темными силами, мешающими свежим, зеленым росткам новой жизни купаться в лучах и теплом весеннем воздухе. И, читая эти певучие, жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную, строгую к себе и другим отвагу юности.

VI

В один из четвергов, когда за дверью камеры, где-то глубоко внизу, гремели голоса и шаги надзирателей, Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный. Вытащив из него записку, он сел и прочитал:

«Дорогой Брон! Вам, в самом деле, должно быть ужасно скучно. Поэтому не сердитесь на меня за то, что я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидания с Вами под видом вашей „гражданской жены“. Трудненько было, но ничего, обошлось. Меня зовут Нина Борисова. Ничего почти не пишу Вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся.

У меня сегодня хорошее настроение. И так тепло, весело на улице. Н. Б.»

«И так тепло, весело на улице», – подумал Брон. Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубаху. Но тут же внизу раздались четыре свистка, и торопливый резкий голос крикнул:

– 56-й! На свидание!

И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но, когда надзиратель распахнул дверь и, быстро окинув камеру привычным взглядом, сказал: «Пожалуйста!», Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел.

Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре гремели крики надзирателей, звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда в дни свиданий. «Зальный» надзиратель, толстый, усатый человек с медалями, увидя Брона, поспешно спросил:

– На свидание? В конец пожалуйста, в камеру направо!

Брон пошел в конец длинного коридора, ступая той быстрой, легкой походкой, какой ходят люди, долго сидевшие без движения. Другой надзиратель, гладко причесанный, печальный человек, ввел его в пустую камеру, заново выкрашенную серой масляной краской, и вышел, притворив дверь. Прошло несколько томительных минут, которые Брон старался сократить курением, не в силах будучи побороть чувство стеснения, неловкости и ожидания. Наконец дверь быстро распахнулась, и тот же надзиратель равнодушно произнес:

– Пожалуйста сюда!

У Брона сильно забилося сердце, и через два шага его ввели в другую камеру, где стоял небольшой столик, покрытый газетной бумагой, а у столика сидел жандармский ротмистр, молодой человек с сытым, бледным лицом и сильно развитой нижней челюстью. Брон вошел и неловко остановился среди камеры. Маленькие глаза ротмистра скучающе скользнули по нему, и Брону показалось, что ротмистр подавил усмешку. Брон вспыхнул и повернулся к двери.

VII

В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстенькая, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми, растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно-крепко пожал протянутую ему руку.

– Ну, вот... здравствуйте! – сказал он, кашлянув. – Ну, как здоровы? – поспешил он добавить, чувствуя, что предательски краснеет.

– Прошу сесть, господа! – раздался скрипучий голос ротмистра, и Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села, а на столе между ними протянулись пухлые, белые руки ротмистра. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщетно, с отчаянием придумывал тему для разговора. Мысли его вертелись с ужасающей быстротой, и одна из них была его по нервам:

«Я сижу тупо, как дурак! – Как дурак! – Как дурак!»

– Ну, говорите же что-нибудь, – тихо сказала девушка и виновато улыбнулась. Голос у нее был слабый, грудной. – Ужасно это, как мало дают свидания. Пять минут... Вон в предварилке, говорят, больше...

– Да, там больше, – согласился Брон значительным тоном. – Там десять минут дают...

И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы пять минут уже кончились.

– Я очень торопилась сюда, – продолжала девушка. – Мне надо еще поспеть в одно место... А здесь ждала – час... или нет? Полтора часа...

– Спасибо, что пришли, – сказал Брон деревянным голосом. – Очень скучно сидеть... – «Что же это я жалуясь?» – внутренне нахмурился он. – А вы... как?

– Я? – рассеянно протянула девушка. – Да все так же...

Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга. И обоим почему-то было грустно. Ротмистр подавил зевок, побарабанил пальцами по столу и, с треском открыв огромные часы, сказал, поднимаясь:

– Свидание кончено... Кончайте, господа!..

Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой, враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге еще раз обернулась и торопливо бросила:

– Я приду в четверг... А вы не скучайте.

Она думала, быть может, встретить другого, закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взглядом... Все может быть. Может быть и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы, схоронивший за железными прутьями столько прекрасных душ... Может быть также... – Все может быть.

Брон медленно поднимался по лестнице к «своему» коридору и «своей» камере. Ему было тяжело и неловко, как человеку, уличенному в дурном поступке, хотя он и сам не знал – отчего это... И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинах души, где рождаются и гаснут желания, – двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвеянных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого...

Войдя в камеру, Брон подошел к окну, вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня, цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий, возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе Брона...

Карантин

I

Сад ослепительно сверкал, осыпанный весь, с корней до верхушек, прозрачным благоуханным снегом. Зеленое озеро нежной, молодой травы стояло внизу, пронизанное горячим блеском, пламеневшим в голубой вышине. Свет этот, подобно дождевому ливню, катился сверху, заливая прозрачный, яблочный снег, падая на его кудрявые очертания, как золотистый шелк на тело красавицы. Розоватые, белые лепестки, не выдерживая горячей, золотой тяжести, медленно отделяясь от чашечек, плыли вниз, грациозно кружась в хрустальной зыби воздуха. Они падали и реяли, как мотыльки, бесшумно пестря белыми точками нежную, тихую траву.

Воздух, хмельной, жаркий и чистый, нежился, греясь в лучах. Яблони и черемухи стояли как завороченные, задремав под гнетом белого, девственного цвета. Мохнатые, бархатные шмели гудели певучим баском, осаждая душистую крепость. Суетливые пчелы сверкали пыльными брюшками, роясь в траве, и, вдруг сорвавшись, быстрой, черной точкой таяли в голубизне воздуха. Надсаживаясь, звонко и хрипло кричали воробьи, скрытые темной зеленью рябин.

Маленький сад кипел, как горный ключ, дробящийся червонным золотом в уступах гранита, и отражение этого веселого торжества сеткой теней и светлых пятен перебегало в лице Сергея, лежавшего под деревом в позе смертельно раненного человека. Руки и ноги его раскинулись как можно шире и свободнее, темные волосы мешались с травой, глаза смотрели вверх и, когда он закрывал их, свет проникал в ресницы красноватым сумраком, трогая веки. Сладкое бездумье, полное ленивой рассеянности, входило сквозь каждую пору кожи, нежа и расслабляя. Ни одна определенная, беспокойная мысль не гвоздилась в голове, и захотелось лежать так долго, спокойно, пока красный закат не встанет за черными углами крыш и не делается темно, сыро и холодно.

Трудно было сказать, где кончается его тело и начинается земля. Самому себе он казался зеленью трав, пустивших глубоко белые нити корней в пьяную, рыхлую землю. Корни эти, извиваясь, убегали в самую толщу ее, в сырой и тесный мрак подземного царства червей, жучков и кривых, коричнево-розовых корней старых деревьев, пьющих весеннюю влагу. Растаяв, соединившись с зеленью и желтым светом, Сергей блаженно рассмеялся, крепко, сосредоточенно зажмурился и вдруг сразу открыл глаза. Прямо в них упала голубая зыбь, жаркая и светлая, а в нее, опрокинувшись, тянулись зеленые, трепетные листья.

Он повернулся на бок и стал смотреть в дремучую, таинственную чашу мелкого хвороста, бурых, прошлогодних листьев и разного растительного сора. Там кипела озабоченная суета. Продолговатые, черные жуки, похожие на соборных певчих, без дела слонялись во все стороны, торопливо спотыкаясь и падая. Муравьи, затянутые в рюмочку, что-то тащили, бросали и вновь тащили, двигаясь задом. Закружилась и села бабочка. Сергей деловито нахмурился и вытянул пальцы, целясь к белым, медленно мигающим крыльям.

– Ах, вы! Пшш! Маленький!..

Всхлопнули руки, и зашумела трава. Сергей поднял брови и оглянулся.

– Чего вы, Дуня? Где маленький?

– Бабочку вашу спугнула! – объяснила девушка, и в ее нежном лбу и линиях губ дрогнули смеющиеся складки. – Ищу вас, а вы – вон он где... Маленький-то – это вы, должно быть, Сергей Иванович... Делать-то вам больше нечего.

– Ну, ладно! – хмуро улыбнулся Сергей. – Что ж такое... Поймал бы и отпустил, ибо сказано: «всякое дыхание да хвалит господу...»

Дуня потянулась, ухватила рукой за черный кривой сук и подняла вверх свое тонкое, правильное лицо, одетое легким, румяным загаром. И в ее черных, спрашивающих глазах отразилось колыхание света, ветра и зелени.

– А вы думали – нет? Ясное дело, что хвалит, – протянула она. – Жарко. Я вам там письмо на столе положила, почтальон был.

– Неужели? – почему-то спросил Сергей.

Он встал, неохотно и сладко потягиваясь. Тонкая, цветная фигура девушки стояла перед ним, и согнутый сук дрожал и осыпался над ее головой мелким белым цветом. Там, откуда он приехал, не было таких женщин, наивных в естественной простоте движений, недалеких и сильных, как земля. Сергей опустил глаза на ее мягкую круглую грудь и тотчас же отвел их. Откуда это письмо?

Смутное, колющее чувство, странно похожее на зубную боль, заняло в нем, и сразу тоскливая, серая тень легла на краски зеленого дня. Каменный город взглянул прямо в лицо тысячами слепых, стеклянных глаз и пестрым гулом ударил в уши. Дуня улыбнулась, и он улыбнулся ей, машинально, углом губ. Раздражая, чирикали воробьи. Девушка отпустила сук, и он зашумел, устремившись вверх.

– Сегодня покатаюсь, – весело сообщила она. – Я, да еще Лина Горшкова, да столяриха, да еще канцелярщик один, Митрий Иваныч... Запоем на всю ивановскую. Гребля только плоха у нас – некому. Кабы не это – далеко бы забрались!..

– Великолепно, – задумчиво сказал Сергей. – Кататься – хорошее дело...

– А...

Дуня слегка открыла рот, собираясь еще что-то сказать, но только положила руки на голову и вопросительно улыбнулась.

– Что – «а»? – подхватил Сергей.

– Вы, небось, ведь не захотите... А то вместях бы... Митрий Ваныч сыграет что... Новая гармонь у него, к весне купил. Трехрядка, басистая... Уж так ли играет – прямо вздохнешь...

Неприятное чувство тревоги наскоро заменилось мыслью, что письмо ведь может быть незначительным и нисколько не страшным. Но идти в комнату медлилось и хотелось разговаривать.

– Ваша любезность, Дуня, – поклонился Сергей, – равняется вашему росту. Но...

Девушка смешливо фыркнула. Задорно блеснули зубы; на смуглых щеках проступили и скрылись ямочки.

– Но, – продолжал Сергей, – никак не могу. К моему величайшему сожалению... Буду писать письма, то да се... Так что спасибо вам за приглашение и вместе с тем – извините.

– Да ведь что ж, как знаете! Я только насчет гребли... Наши-то кавалеры бессовестно обленились... Вози их, чертей эдаких!..

Она сердито улыбнулась, и ее хорошенькое лицо сделалось натянутым и неловким.

«А не поехать ли в самом деле? – подумал Сергей. – Что ж такое? Будут визжать, брызгаться водой, петь и щипаться. „Митрий Ваныч“ разведет свою музыку. Еще стеснишь ведь, пожалуй. Нет, уж...»

Но тут же он увидел лодку, девушку, сидящую рядом, и мысленно ощутил близость ее стройного, дразнящего тела.

«Нет, как-то неудобно», – сказал он себе еще раз и с тоской вспомнил письмо. И вместе с этим угасло желание чего-то бездумного и молодого.

– Пойти! – обронила Дуня. – Самовар поставить да мясо искрошить...

Девушка повернулась и удалилась быстрой, плавной походкой. В проломе старого, серого плетня, заменявшем садовую калитку, она обернулась и скрылась. Через минуту из белого, бревенчатого домика вылетел ее звонкий крик, раздались шлепки и отчаянный детский плач.

II

Сергей поднялся на крыльцо и ступил в сумеречную прохладу сеней. У дверей его комнаты, низеньких и обшмыганных, заслонив их своим телом, Дуня, согнувшись, удерживала за руки пятилетнюю сестренку Саньку, упорно желавшую сесть на пол. Ребенок пронзительно кричал, дергая во все стороны босыми, грязными ножками; платье его сплошь пестрело свежей, мокрой грязью. Заметив Сергея, Санька сразу утихла, всхлипывая и враждебно рассматривая фигуру «дяди» вспухшими, красными глазками. Дуня посторонилась, подымая напряженное, вспотевшее лицо.

– Гляньте, гляньте, что делает! Ишь ведь, ишь! Мука ты моя мученическая! Сладу никакого с ей нет... Просто наказание божеское!..

Торопливо подоткнув сбившуюся юбку, она мельком взглянула на Сергея и снова принялась возиться с Санькой, заголосившей еще громче и отчаяннее. Юноша отворил дверь и прошел в комнату.

После влажной, весенней жары и пестрого блеска, глаза приятно отдыхали, встречая стены, и легче было дышать. Белая занавеска, колыхаясь, закрывала окно; сквозь ее узорчатую сеть смутно виднелась освещенная, пыльная дорога улицы и маленькие домики с кирпичными низами, в серых, похожих на шляпы крышах. Кое-где пестренькие, дешевые обои скрывались яркими олеографиями под стеклом, в черных, узких рамках. На зеленом ободранном сукне раскрытого ломберного стола лежали книги, привезенные Сергеем, и стоял письменный прибор, пестрый от чернильных пятен. Четыре желтых крашенных стула торчали вокруг стола и коричневого комода, а на полу тянулась запачканная холщовая дорожка.

Письмо синело на столе, в широком конверте. Сергей взял его и некоторое время с тревожным чувством досадливого нетерпения разглядывал резкий, безразличный почерк адреса. Старое желание выяснить себе и другим результат этих двух месяцев добровольного изгнания снова вспыхнуло и оборвалось чувством смутной, колеблющейся боязни. Слегка взволнованный, как будто простой, синий конверт донес и бросил ему в лицо старые, огненные мысли, забытые в городе, разбив несложную гамму весенних дней, – Сергей разорвал письмо и вынул тонкий, хрустящий листик. Нетерпеливо скомкав глазами неизбежный обывательский текст, маску настоящего смысла, он зажег свечку в медном, позеленевшем подсвечнике и поднес бумагу к огню, нагревая чистую, незаписанную сторону. Она коробилась, желтела и ломалась, но упорно молчала, как человек, не желающий поведать тайну, вверенную ему. И только тогда, когда пальцы Сергея заныли от огня и он хотел уже убрать их, – на бумаге выступили коричневые точки. Они ползли, загибались и, прежде чем последняя буква облеклась в плоть и кровь, Сергей уже знал, что завтра придет кто-то имеющий отношение к его судьбе, а потом надо будет уехать и умереть.

Сначала он прочитал ровные, твердые буквы совершенно равнодушно, машинально отмечая их мыслью и собирая в слова. Когда же они кончились и остановились во всей грозной наготе своего значения, он весь подобрался и стиснул зубы, готовый отразить грядущий удар. Только теперь совершенно ясно и определенно Сергей понял, что этого не будет и не могло быть. Там, где оглушенный, пылающий мозг дает обещания и падает грань между жизнью и смертью в тяжелом угаре судорожной борьбы, там есть своя правда и логика. А там, где хочется жить, где хочется есть, пить, целовать жизнь, подбирая, как драгоценные камни, малейшие ее крохи, там, быть может, нет ни правды, ни логики, но есть солнце, тело и радость.

В углу, где корбились порванные обои, показались далекая мостовая, люди, фонари, вывески. Толпятся лошади, экипажи. Кто-то едет... Кто-то бледный, с липким холодным потом на лице и грозой в сердце подымает руку, и все хохочет вокруг гремящим, страшным смехом и рушится...

Воробьи трещали за окном жадными, назойливыми глотками. Гроыхали скачущие телеги, стучал топор. Далекий город встал перед глазами, окруженный лесом труб и стадами вагонов. Он шумно, тяжело дышал и смеялся в лицо Сергею звонким, металлическим смехом, весь пропитанный мрачным, фанатическим налетом горения мысли.

Там, в центре кипучей, бешеной лихорадки нервов, огромный механизм жизненных сплетений неустанно ковал в сотнях и тысячах сердец волны чувств и настроений, окружая Сергея немой, загадочной силой порыва. Но как тогда измученный дух рвался к расплате с палачами жизни, так теперь было понятно и просто, что умирать он не собирался, не хотел и не мог хотеть.

Он никогда не забывал о яркой, лицевой стороне жизни, и жадность к ней росла по мере того, как отъедалось и отдыхало его обессиленное, издерганное тело, полное сильной, горячей крови. Шли дни – он жил. Вставало солнце – он умывался и улыбался солнцу. Дышал свежим, пьяным воздухом, пьянел сам, и все казалось веселым и пьяным. Земля обнажалась перед ним день за днем, пахучая, сильная, и зеленела. Тяжелело и росло тело, полное смутных желаний.

Было просто и хорошо, и хотелось, чтобы всегда было так: ясно, хорошо и просто.

Друзья и знакомые или те, кого он считал друзьями и знакомыми – походили теперь на маленьких, смешных и крикливых воробьев. Жизнь пела вокруг них, красивая, трепетная, а они шумели и прыгали, стараясь перекрыть жизнь. Рядом с этой картиной сверкнули бледные, измученные, издерганные лица, голодные глаза, вечно голодные мозги, вечно окаменевшие в муках сердца. Теперь он уже ясно видел полчища голов, горы книг и скупые, неудобные квартиры, похожие на лица старых девушек. Ставил прошлое на шаткие, слабые ноги и смотрел. Краски стерлись, погасли тона, но контуры те же, резкие и угловатые. Кровью, своей и чужой, вписаны они. Только образы женщин и девушек, ясные и светлые, смягчали фон, как цветы – иконостас храма. Так строки великого поэта, взятые эпитафией к труду ученого, оставляют свой душистый след в кованных, тяжелых страницах...

И ревность к своей вере, неутомимая, гневная, тяжело дышит, готовая обрушиться всем арсеналом отточенной, жалящей и ранящей аргументации. А дальше, в углах, скрытых мраком, ползают гады и гудит тоскливый плач, сливая в одном потоке слезы бессилия, вздохи раба, тупую, скотскую злобу и детское, кровавое непонимание...

Сергею вдруг стало тяжело, противно и жалко. Взволнованный, слушая торопливый, таинственный шепот крови – он стоял и все еще не решался давно уже и бессознательно готовым решением порвать бег мысли. И, наконец, подумал то, что таилось внутри, быть может, там, где крепкое, цветущее тело возмущенно отвергало холод смерти. Коротенькая, в три слова была эта мысль:

– «Ни-за-что!»

И хотя после этого стало спокойнее и беззаботнее, все же было досадно на себя и чего-то жаль. Досадно потому, что и он, как многие, оказался способным создавать мысленно красивые, смелые дела. В периоды острых, нервных подъемов воображаемого подвига так приятно умирать героем и вместе с тем радоваться, что ты жив.

За окном по-прежнему неутомно и настойчиво кричали воробьи, и в крике их слышалось:

– Здесь есть один воробей – я! Чир-рик!..

Сергей вздохнул, открыл глаза и поднялся со стула. Потом усмехнулся, сладко зажмурился, зевнул и, спохватившись, быстро сжег письмо. Оно вспыхнуло и упало легким серым

пеплом. Затем повернулся на каблуке, снял со стены старенькое одноствольное ружьецо и вышел из комнаты.

У ворот он встретился с черными спрашивающими глазами Дуни. Она сидела на лавочке, подогнув ноги, и ловко, быстро лущила семечки. Черные, с блеском, волосы ее были заплетены в тугую, длинную косу и украшены желтым бантом, а розовое лицо на фоне серого, дряхлого забора казалось цветком, пришпиленным к сюртуку лавочника.

– На охоту, Сергей Иванович? – спросила она, сплевывая шелуху. – Вот уж Митьки Спиридонова-то нет. Уж он бы вас в такие ли места свел! Сам ходил, бывало, – весь птицей обвешан, страсть что полевал!..⁷

– Здорово! – сказал Сергей, разглядывая пестрый ситец Дуниной кофточкой, плотно обтянувший тонкое, круглое плечо. – А где же он?

– Далеко – отселе не видать! – рассмеялась девушка. – В солдатах, в Костроме.

– Здорово! – повторил Сергей и улыбнулся. Отчего-то стало смешно, что Митя Спиридонов ушел в солдаты и, остриженный, скрученный дисциплиной по рукам и ногам, делает разные вольты.⁸

– А вы, Дуня, пойдете со мной! – пошутил он. – С вами вдвоем, я думаю, мы много настреляем.

– Чего ж я? – хладнокровно сказала Дуня и, помолчав, добавила: – Да и нельзя. Тетка звала подомовничать. Ребята у ней сорванцы, того гляди – дом сожгут... Выдумали тоже!

– А кататься ведь поедете?

– Так ведь то кататься, а не по болоту, юбки задрать, кочкарник месить! – с живостью возразила девушка. – Какой вы, Сергей Иванович, смешной, право!

И она весело, со смехом блеснула ровными, белыми зубами. Сергей стоял, улыбаясь ее веселью, здоровью и солнцу, бросавшему жаркие тени в углы заборов, поросшие густой, темно-зеленой крапивой.

– Ну, до свидания!

– Обедать-то придете?

– Не знаю... Вы оставьте мне что-нибудь, – если не приду.

Он медленно пошел, вздымая тяжелыми сапогами густую, стоячую пыль дороги и чувствуя за спиной пристальный женский взгляд. Обернуться ему не хотелось.

– Чепуха какая! – с улыбкой зевнул он, завертывая за угол и направляясь к реке.

III

Сергей ушел далеко, верст за семь, и шатался долго, до одурения. Переходя волнистый, зеленый луг, неровно изрезанный тенистыми зигзагами речки, окаймленной кудрявыми купами ивняка, он вспомнил апрель. Тогда здесь было еще сыро, холодно и неудобно. Нога противно чмокала в жидкой, размокшей почве, залепленной блеклой, прошлогодней травой и сгнившими прутьями. Талый снег гнезился в ямках, предательски закрывая лужи и рытвины, в холодную воду которых неожиданно проступали озябшие ноги. Солнце тускло блесло, скрытое испарениями. Ивняк стоял голый, ободранный, нелепо кривя сучья. Речка еще спала, и лед в ее черных преющих берегах вздувался грязно-белым горбом, истыканный сетью звериных и птичьих следов. У обрывов, там, где скупно блестели грязные лужицы весенней воды, уныло качались ранние кулики и, завидев человека, с пугливым свистом летели дальше.

Теперь природа казалась женщиной, нарядной, умывшейся после долгой, хмельной ночи. Льющийся звон стоял в траве, сплетаясь дикой, монотонной мелодией с криками птиц. Зеле-

⁷ Полевал – здесь: охотился на полевую дичь.

⁸ Вольт (франц. volte) – поворот.

ная и синяя краски рябили в глазах, пестрея лилово-розовым узором цветов. Воздух обливал разгоряченное лицо то сухью жары, то нежными, прохладными волнами.

Далеко-далеко, за сизой полосой леса пронесся слабый, жалобный свисток паровоза, и снова огромный, тысячеглазый город взмахнул перед глазами Сергея закопченными железными крыльями. Но теперь видение потеряло свою остроту и быстро отлетело в прозрачную, хрустальную даль. Меж цветов, кочек, густо поросших красноглавым кукушкиным мхом, кустами шиповника и малины, оно казалось безжизненным и бледным, как давно виденный сон. Здесь ему не было места. Кудрявый щавель и лаковая зелень брусники взяли Сергея под свою защиту. Он поправил ремень дробовика и хитро, молодо улыбнулся кому-то притаившемуся в глубине кустов.

Прыгали желтенькие трясогузки, кокетливо покачивая длинными прямыми хвостиками. Где-то лениво дергал коростель. Жажда томила Сергея, и он, нырнув в затрепавшие кусты, спустился по крутому, осыпчатому берегу к мелкой струистой речке. У берега вода стояла тихо, пронизанная осокой и водорослями, на дне блестела крупная галька. Наклонившись и промолив колени, Сергей увидел в сумрачном зеркале воды голубое, светлое небо, ушедшее куда-то вниз, далеко под берег, свое темное лицо, спутанные волосы и жилы, вздувшиеся на лбу. Напившись, он еще раз, немного разочарованный, посмотрел на себя. В лице водяного двойника, мужественном, красивом, не было и следа борьбы. Оно глядело спокойно, беспечно, устало и слегка, по обыкновению – насмешливо.

Он вытер платком мокрые губы, надел фуражку и, лениво хватаясь за траву, взобрался наверх, чувствуя, как вязкое, нудное беспокойство ходит с ним, преследуя, держит, не спуская с него глаз и отравляя воздух своим дыханием. Оно было похоже на чужой надоедливый груз, который, однако, нельзя бросить, не дотащив до известного места. Вся досада и недоумение выразались в сознании неизбежности завтрашнего дня. А вместе с тем казалось оскорбительным, что люди, которых он в тайниках души всегда почему-то считал стоящими ниже себя, теперь станут, быть может, и даже наверное, презирать его и сострадательно смеяться над ним, хотя он и теперь несколько не хуже их. Но всего досаднее то, что они, люди эти, как будто получали право отнестись к нему так или иначе. И – что уж совсем являлось смешным и нелепым, а в действительности как будто так и выходило – что право это давал он.

Эта вспугнутая мысль тревожно билась и ерзала некоторое время, вздымая целый ворох грязного белья, накопленного в душе. За ней двинулись другие, лениво вспыхивая и сучая, враждебные зеленой, тысячеглазой жизни, напиравшей со всех сторон. Серые и однообразные, давно и сотни раз передуманные, стертые, как старые монеты, они назойливо толклись, неуклюжие и заспанные. Обрывки их, складываясь в слова о свободе, героизме и произволе, ползали, как безногие, жалкие калеки.

Смеркалось, а он все ходил, перебирая четки прошлого, пока не захотелось пойти домой. Мыслям его нужны были стены. Там, свободные от воздуха и усталости, прямые и голые, давно знакомые и надоевшие друг другу, они могли текуче звучать до завтра, пока между ним и ними не упадет широкое лезвие незримого топора и не сделает его, Сергея, открыто самим собой.

IV

Когда он подходил к околице городка, было уже темно, грустно и сонно. В дворах глухо мычали коровы, прыгали сердитые женские голоса. Где-то кричали пьяные. Светились окна. Натруженные ноги горели, словно обваренные кипятком. Хотелось есть, потом лечь и сладко отдохнуть. Сергей нажал брякнувшую калитку и вошел во двор.

Окон не было видно в темноте, и он сначала решил, что все уже спят. Но, подымаясь на заскрипевшее крыльцо, услышал в черноте дремлющего, парного воздуха сдержанные звуки

разговора и женский смешок. Сергей прислушался. Мужской голос, довольный и вместе с тем мечтательный, медленно плыл в глубине сада:

– Вот видите – вы и не в состоянии этого постигнуть... А это, ей-богу – бывает... Вроде как просияние. И это объяснено даже во многих философических книгах.

– Вот уж я бы на этакое не согласна, – быстро заявил женский, Дунин голос. – Вы подумайте! Червями весь прокипишь... Стой, как дурак, целую жисть. А вдруг все даром пропадет?

– Как дурак? – обиженно возразил мужчина. – Это вы совсем напротив. Наоборот – душа особый дар приобретает и все ей известно... Например... Забыл вот только, как его звали... один старец стоял на столбе тридцать лет и три месяца. И до того, представьте себе, дошел, что звериный и скотский образ мыслей понимать стал!

– Вот стой, – продолжала девушка, и плохо скрытый смех дрожал в ее грудном, певучем голосе, – стой так-то; все богу молись да молись, все о божественном думай да думай, голодай да холодай – а вдруг в мыслях что согрешишь – и поминай как звали все твои заслуги. Не очень приятно.

И, помолчав, добавила:

– Нет уж. Я, например, хоть в аду кипеть буду, так все равно. Вы думаете – там скучно, в аду-то? А я думаю, что все народ очень веселый. И вас, к одному уж, захватить, Митрий Ваньч!! Ха-ха!

Сергей стоял на крыльце, прислушиваясь, и улыбался. Ему хотелось пойти в сад, вести мирный, дурашливый разговор, не видя глаз и лиц, и дышать теплым, сонным мраком. Но идти не решался, а в душе было смутное, верное чувство, что с его приходом разговор оборвется, и всем станет вдруг неловко и скучно.

– Я, Дунечка, – сладко, поучительным тоном возразил Дмитрий Иваныч, – хотя и готов, конечно, проследовать за вами даже на край света, до самых отдаленных берегов Тавриды, но душу свою, извините, в смоле кипятить не желаю, хе-хе... Как это вы так говорите – ровно у вас огромное беремя грехов!

Прозвенели несвязные, отрывистые переборы гармонии.

– Я – большая грешница, – смеясь заявила девушка. – Ух! мне никакого спасения нет. Я все грешу. Вот вы божественное говорите, а мне смешно. Сижу вот с вами тут – чего ради? Тоже грех.

– Если бы вы... – вздохнул Дмитрий Иваныч, – знали те мои чувства... которыми...

– Отстаньте, пожалуйста. И никаких у вас чувств нет... Сыграйте лучше что ненабудь.

– О жестокая... гм... сирена! Для вас – завсегда и что угодно! Что прикажете? Хороший есть вальс, вчера выучил – мексиканский.

– Н-нет, – протянула задумчиво девушка. – Вы уж лучше тот... «Душистую зелень».

Несколько секунд стояла тишина, и вдруг сильно и певуче заговорила гармоника. Бойкие пальцы игрока быстро переливали грустные, звонкие трели, рывкали басами и дрожали густыми, протяжными вздохами. Трепет ночи и теплый мрак дробились и звенели мягкими, округленными тактами, и звуки вальса не казались ни пошлыми, ни чуждыми захолустью жизни. Поиграв минут пять, Дмитрий Иваныч бурно прогудел басами и умолк.

– Очень хорошо! – сказала, помолчав, девушка. – Научите меня, Митрий Ваньч, вальсы плясать!

– Почту себя счастливым услужить вам, – галантно ответил кавалер. – Это, между прочим, самый пустяк... Ну, как ваш жилец-то?

– Что ж жилец? – неохотно протянула Дуня. – Ничего... живет.

– Фигура заметная, – продолжал Дмитрий Иваныч. – И большой гордец... На грош амунниции, а на целковый амбиции. Третьего дня встретился я тут с ним как-то... ну известно – разговор, то да се... Так нет – «до свидания, – говорит, – мне некогда»... А между тем, как это говорится – человек интеллигентный...

– Вы-то уж хороши! – недовольно возразила девушка. – Он даже очень вежливый и совсем простой. С Санькой вон вчера возился, как маленький.

– Ну да, – обидчиво заметил уязвленный Дмитрий Иванович, – это для вас он, конечно, возможно, что и вполне хороший... как он у вас живет два месяца... конечно...

– Вы – пожалуйста! – задорно перебила Дуня. – Не выражайтесь! Живет и живет – что ж тут такое?..

Воцарилось натянутое молчание, и затем гармоника обиженно заголосила пеструю, прыгающую польку. Сергей самодовольно улыбнулся и, пройдя сени, отворил дверь своей комнаты. В лицо пахнула душная, черная пустота. Нашарив спички, он зажег лампу, с жадностью съел холодный обед, разделся и, усталый, сладко потягиваясь на кровати, закурил папиросу. Усталость и сонливость делали теперь для него совершенно безразличным – приедет ли кто-нибудь завтра или нет; просто хотелось спать.

Погасив лампу и повертываясь на бок, он расширил глаза, стараясь представить себе, что мрак – это смерть и что он, Сергей, бросил бомбу и умер. Но ничего не выходило, и самое слово «смерть» казалось пустым, ничего не значащим звуком.

И, совсем уже засыпая, увидел крепкое, стройное тело девушки. Может быть, это была Дуня, может быть – кто другой. От нее струилось волнующее, трепетное тепло крови. И всю ночь ему снились легкие, упругие руки женщин.

V

Когда – после, спустя много времени – Сергей вспоминал все, что произошло между ним и товарищем, приехавшим на другой день для окончательных переговоров, ему всегда казалось, что все это вышло «как-то не так» и что тут произошла какая-то ошибка. Какая – он сам не мог определить. Но несомненным было одно: что причина этой ошибки лежит не в нем – Сергее, и не в товарище Валерьяне, а там – за пределами доступного ясному и подробному анализу. Как будто обоим стало тяжело друг перед другом не за свое личное отношение к себе и людям, а за то огромное и слепое, имя которому – Жизнь и которое ревниво охраняло каждого из них от простого и спокойного понимания чужой души. Сознать это было тяжело и неприятно еще потому, что и в будущем могло повториться то же самое и снова оставить в душе след больной тяжести и бьющей тоски.

Сергей не знал, что приедет именно Валерьян. Когда на другой день утром вертлявый, смуглый и крикливый революционер шумно ворвался в комнату и начал тискать и целовать его, еще сонного и подавленного предстоящим, – Сергей сразу почувствовал, что объяснение будет тяжелое и злое. Столько было уверенности в себе и в своем знании людей в резких, порывистых движениях маленького кипучего человека, что в первое мгновение показалось невозможным сознательно отступить там, где давно было принято ясно и твердо выраженное решение. А потом сразу поднялось холодное, твердое упрямство отчаяния и стало свободнее двигаться и легче дышать.

И вместе с этим кислое, нудное чувство отяготило душу, зевая и морщась, как заспанный кот. Все казалось удивительно пресным, бестолковым, совершенно потерявшим смысл. Пока Сергей умывался и одевался, рассеянно и невпопад подавая реплики, Валерьян суетился, присаживался, вскакивал и все говорил, говорил без умолку, смеясь и взвизгивая, – о «текущем моменте», освобожденцах⁹ и эсдеках, «Революционной России»¹⁰ и «Искре», полемике и агитации, – говорил быстро, пронзительно, без конца.

⁹ Освобожденец – член либеральной группы, объединявшейся вокруг журнала «Освобождение» (1902–1905), издававшегося за границей под редакцией П. Б. Струве.

¹⁰ «Революционная Россия» – нелегальная эсеровская газета, издававшаяся в 1900–1905 гг.

Черный, кудластый и горбоносый, в пенсне, закрывающем выпуклые близорукие глаза, стремительный и взбудораженный, он казался комком нервов, наскоро втиснутым в тщедушное, жилистое тело. Ерзая на стуле, ежеминутно вскидывая пенсне, хватая Сергея за руки и пуговицы, он быстро-быстро, заливаясь детским самодовольным смехом, сыпал нервные, резкие фразы. Даже его одежда, умышленно пестрая, южной полуприказчицей складки, резко заслоняла обычную для Сергея гамму впечатлений и, казалось, принесла с собой все отзвуки и волнения далеких городских центров. Сергея он знал давно и относился к нему всегда с чувством торопливой и деловой снисходительности.

Когда, наконец, Сергей убрался и вышел с товарищем в сад, где смеющееся солнце золотилось и искрилось в зелени, как дорогое вино, и оглушительно кричали воробьи, и благоухал пушистый снег яблонь, он почувствовал, что тревога и раздражение сменяются в нем приливом утренней бодрости и выжидательного равнодушия ко всему, что скажет и сделает Валерьян. А вместе с тем понимал, что с первых же слов о деле станет больно и тяжело.

Они сели на траве, в том месте, где густая рябина закрывала угол плетня, примкнувший к старому сараю. Слегка передохнув и рассеянно вскидывая вокруг близорукими глазами, Валерьян начал первый:

– А вы ведь меня не ждали, дядя, а? Ну – рассказывайте – как, что, – иное и прочее? Все хорошо? А? Ну, как же?

– Да вот... – Сергей принужденно улыбнулся. – Как видите. Приехал я, и поселился, и живу... как видите – в благоратворении воздухов...

– Да! Да?! А? Ну?

– Ну, что же... ем, толстею... пища здесь дешевая. Я здорово отъелся после сидения. Можно сказать – воскрес. Вы ведь видели, какой я тогда вышел – вроде лимона...

– Вроде выжатого лимона, ха-ха! Ну, а это, как его – вы чистый здесь? Слежка есть, а?

– Тише вы... – Сергей оглянулся. – Слежки нет, конечно, какая же здесь может быть. Приехал я... Я сперва думал объявиться ищущим занятий, но потом отбросил эту мысль, потому что это даже не город, а скорее слобода.

– Да, да!.. Ну?

– Ну – так вот... поселился здесь – просто под видом больного на отдыхе. И прекрасно. Знакомств никаких не заводил, да и не с кем... Да и не нужно...

– Да, да, да!.. И знаете ли, что вы, дяденька, – еще счастливейший из счастливых!.. Другие, – он понизил голос, – перед актом держали карантин по пять, по шесть, по девять месяцев! Ничего не поделаете! Нужно! Нужно, понимаете ли, человеку очиститься так, чтобы ни синь-пороха, ни одного корня нельзя было выдрать... А я ведь, знаете, откровенно говоря, сомневался, что у вас хватит выдержки сидеть в этой... ха-ха? – келье под елью. Вы того, человек живой. Хм...

Он уронил пенсне, подхватил его, оседлал нос и таинственно спросил:

– А кто ваши хозяева? А?

– Глава семейства и владелец этого домишки, – кузнец, здесь в депо. Человек смирный и, как говорится, – богобоязненный. По вечерам, когда придет с работы, долго и шумно вздыхая, пьет чай, по воскресеньям напивается вдребезги и говорит какие-то кроткие, умиленные слова. Плачет и в чем-то кается... А вот жена у него – целый базар: рябая, толстая, сырая, и глотка у нее медная. С утра до вечера ругает весь белый свет. Есть у них еще две дочки: одна – крошка и плакса, а старшая – ничего себе...

Маленький человек слушал, одобрительно хохотал и хлопал Сергея по плечу, вскидывая пенсне.

– Ну, ну? Да? – повторял он беспрестанно, думая в то же время о чем-то другом. И когда Сергей кончил, Валерьян как-то совсем особенно, растроганно и грустно взглянул ему в глаза.

– Ну, так как? – тихо сказал он. – Когда же выезжать вам, как думаете, а?

И как бы опасаясь, что слишком скоро и неделикатно задел острый вопрос, быстро переспросил:

– Скучно было здесь, да?

Кольцо, схватившее горло Сергею, медленно разжалось, и он, стараясь быть равнодушно-твердым, сказал:

– Н-нет... не очень... Я охотился, читал... Страшно люблю природу.

– Природа, да... – рассеянно подхватил Валерьян, и сосредоточенное напряжение легло в мускулах его желтого смуглого лица. – Ну... это – приготовились вы?

Он понизил голос и в упор смотрел на Сергея задумчивым, меряющим взглядом. Сразу почему-то слиняло все забавное в его манерах и фигуре. Он продолжал, как бы рассуждая с самим собой:

– Я думаю – вам пора бы, пожалуй, двинуться... Штучку я привез с собой. Она в комодке у вас. Слушайте, – осторожнее, смотрите!.. Если ее не бросать об пол и не играть в кегли – можете смело с ней хоть на Камчатку ехать. Вот первое. Затем – деньги. Сколько их у вас?..

Вопрос повис в воздухе и, замерев, все еще звучал в ушах Сергея. Стало мучительно стыдно и жалко себя за всю ложь этого разговора, с начала до конца бесцельную, убого прикрывшуюся беспечностью и спокойствием товарищеской беседы. Он глупо усмехнулся, деланно просвистал сквозь зубы и сказал тонким блуждающим голосом:

– Валерьян! Ужасно скверно... То, что вы ведь в сущности... совсем напрасно, то есть... я хочу сказать... Видите ли – я... раздумал. Только...

С тяжелым, мерзким чувством Сергей повернул голову. В упор на него взглянули близорукие, черные, растерянно мигающие глаза. Валерьян криво усмехнулся и, подняв брови, вопросительно поправил пенсне. В его тонкой желтой шее что-то вздрагивало, подымаясь и опускаясь, как от усилий проглотить твердую пищу. Он сказал только:

– Как?! Да подите вы!..

Звук его голоса, странно чужой и сухой, делал излишними всякие объяснения. Он сидел, плотно закусив нижнюю губу, и тер ладонью вспотевший, выпуклый лоб. И весь, еще минуту назад уверенный, нервный, он казался теперь усталым и жалким.

– Валерьян! – сказал, помолчав, Сергей. – Во всяком случае... Валерьян – вы слышите?

Но, пристально взглянув на него, он с удивлением заметил, что Валерьян плачет. Крупные, неуправляемые слезы быстро скатывались по смуглым щекам из часто мигающих, близоруких глаз, а в углах губ сквозила нервная судорога усмешки. И так было тяжело видеть взрослого, закаленного человека растерявшимся и жалким, что Сергей в первую минуту опешил и не нашелся.

– Слушайте, ну что же это такое? – беспомощно заговорил он после короткого, тупого молчания. – Зачем, ну, зачем это?

– Ах, оставьте! Оставьте! Ну, оставьте же! – раздраженно взвизгнул Валерьян, чувствуя, что Сергей трогает его за плечо. – Оставьте, пожалуйста...

Но тут же, быстрым усилием воли подавил мгновенное волнение и вытер глаза. Затем вскочил, укрепил пенсне и заторопился неровным, стихшим голосом:

– Мы с вами вот что: пойдете-ка! Слышите? Нам нужно с вами побеседовать! Куда пойти, а? Вы знаете? Или просто – пойдете в поле! Просто в поле, самое лучшее...

Они вышли во двор, жаркий после прохлады садика; зеленый, в белой кайме бревенчатых строений. На крыльце стояла Дуня, в ситцевом, затрапезном платье и Глафира, ее мать, рыхлая, толстая женщина. Обе кормили кур. Увидев Сергея, Глафира ослабилась и переломилась, кланяясь юноше.

– Здравствуйте, Сергей Иваныч! – запела она. – Это вы никак гулять уже направились! Чай-то не будете, штоль, пить? Гостя-то вашего попойте, право! Экой вы недомовитый, непоседливый, пра-аво!..

– Мы после, – сказал Сергей и рассеянно улыбнулся Дуне, глядевшей на него из-под округлой, полной руки. – Вы самовар-то, конечно, поставьте. Мы после...

В груди его что-то волновалось, кипело, и смущенные, всколыхнутые мысли несвязно метались, отыскивая ясные, твердые слова успокоения. Но все, попадавшееся на глаза, отвлекало и рассеивало. С криками и грохотом ехали мужики, блеяли козы, гудел и таял колокольный звон, стучали ворота. Валерьян шел рядом, черный, маленький, крепко держа Сергея за локоть и резко жестикулируя свободной рукой. Усталый и взвинченный, он крикливо и жалобно повторял, трогая пенсне:

– Но как вы могли, а? Как? Что? Что вы наделали? Ведь это свинство, мальчишество, а? Ведь вы же не маленький, ну? Ах, ах!..

Он ахал, чмокал и быстро, быстро что-то соображал, едва поспевая за крупными шагами товарища. По тону его, более спокойному, и легкой, жалобной и злобной усмешке Сергей видел, что главное уже позади, а теперь остались только разговоры, ненужные и бесцельные.

– Ну, что же вы теперь, а? Ну?

И вдруг Сергею захотелось, чтобы этот стремительный человек, хороший, глубоко обиженный им человек понял и почувствовал его, Сергея, слова, мысли и желания – так, как он сам их понимает и чувствует. И, забывая всю пропасть, отделявшую его душевный мир от мира ясных, неумолимо-логических заключений, составлявших центр, смысл и ядро жизни маленького, черного человечка, идущего рядом, он весь вздрогнул и взволновался от нетерпения высказаться просто, правдиво и сильно.

– Валерьян, послушайте!..

Сергей набрал воздуха и остановился, подбирая слова. Внутри все было ясно и верно, но именно потому, что простота его чувств вытекала из бесчисленной сложности впечатлений и дум – необходимо было схватить главную, центральную ноту своих переживаний.

– Ну? – устало протянул Валерьян. – Вы – что? Говорите.

– Вот что, – начал Сергей. – Другому я, конечно, ни за что бы, может быть, не высказал этого... Но уж так подошло. Я хотел вам привести вот такой пример... н-ну – такой пример: случилось ли вам... ходить около витрин, и... ну... смотреть – на... это... бронзовые статуэтки? женщин?

– Случалось... Далее!..

– Так вот: когда я смотрю на эти овальные, гармоничные... линии... ясные... которые навеки застыли в форме... которую художник им придал, – мертвые, и все-таки, – мягкие и одухотворенные, – я думаю всегда, – что именно, знаете ли – такой должна быть душа революционера... – Мягкой и металлической, определенной... Ясной, вылитой из бронзы, крепкой... и – женственной... Женственной – потому... ну, все равно... Так вот: ...Слушайте... себя я отнюдь таким не считал и не считаю... Это, конечно, смешно было бы... Но именно потому, что я – не такой, я хотел жить среди таких... Металл их – альтруизм, а линии – идея... Понимаете? Ноне один альтруизм тут, а...

– Да, конечно, – рассеянно перебил Валерьян. – Ну, что же из этого?

– ...а оказалось совершенно, быть может, то же, что и у меня, – тише добавил Сергей.

Возбуждение его вдруг упало. Ему показалось, что настоящие, искренние мысли по-прежнему глубоко таятся в нем, и говорит он не то, что думает. Валерьян молчал.

– Да... – медленно продолжал Сергей. – Все то же, все как есть: и честолюбие, и жажда ярких переживаний, и, наконец, часто одна простая взвинченность... А раз так, значит я тем более не могу быть металлом... А поэтому не хочу и умирать в образе ничтожества...

– Удивительно! – насмешливо процедил Валерьян. – Ах вы, чудак! Разумеется, все люди – как люди, и ничто человеческое им не чуждо! Ну, что же? Вы разочарованы, что ли?

– Ничего!.. – сухо оборвал Сергей.

И быстро, лукаво улыбаясь, пробежали его другие, тайные мысли и желания широкой, романтической жизни, красивой, цельной, без удержки и страданий. Те, которые он высказал сейчас Валерьяну, – были тоже его, настоящие мысли, но они мало имели отношения к тому, чего он хотел сейчас. Вместо всего этого сложного лабиринта мелких разочарований, остывшего увлечения и недовольства людьми – просился на язык властный, неударимый голос молодой крови: – «Я хочу не умирать, а жить; вот и все».

– Удивительное дело, – сказал Валерьян, повыше вскидывая пенсне и с любопытством рассматривая разгоревшееся лицо товарища. Вы рассуждаете, как женщина. – В вас, знаете, сидит какая-то декадентщина... Не начитались ли вы Макса Штирнера,¹¹ а? Или, ха... ха!.. – Ницше?¹² Нет? Ну, оставим это. Деньги-то у вас есть?

– Нет, Валерьян, не то, – снова заговорил Сергей, сердясь на себя, что хочет и не может сказать того простого и настоящего, что есть и будет в нем, как и во всяком другом человеке. – Вы знаете – я вышел из тюрьмы издерганный, нервно-расстроенный, злой... Я был, как пьяный... Впечатления подавляли, – и вот – созрел мой план... Нервы реагировали болезненно быстро... Но – я уже сказал вам: быть героем я не могу, а винтиком в машине – не желаю...

– Нет! – рассмеялся Валерьян, – вы мне еще ничего не сказали!.. А? Конечно, – вам, как и всякому другому – хочется жить, но при чем тут бронзовые статуэтки? Какие-то обличения? И зачем вы... Ах, ах! Я ведь, в вас, знаете – ни секунды не сомневался!..

Он недоумевающе поднял брови и замедлил шаг. Поле дышало зноем, городок пестрел в отдалении серыми, красными и зелеными крышами.

– Вы надоели центральному комитету! Вы всем уши прожужжали об этом! Вы чуть ли не со слезами на глазах просили и клянчили... Ведь были же другие? Эх вы! Все скачки, прыжки... Впрочем, теперь что же... Но – хоть бы вы отсюда написали, что ли? А?

Сергей молчал. Раздражение подымалось и росло в нем.

– Во-первых, я не ожидал, что так скоро... – жестко сказал он... – А теперь – я вам сказал... Там уж как хотите.

– Ну, ну... Что же вы теперь намерены?

– Не знаю... Да это неважно.

– Д-да... пожалуй, что так... Дело ваше... Ну, ладно. Так прощайте!

– Куда же вы? – удивился Сергей.

– А туда! – Валерьян махнул рукой в сторону, где, далеко за рощей, краснело кирпичное здание станции. – На поезд я поспею, багаж сдан на хранение... Ну, желаю вам.

Он крепко пожал Сергею руку и пристально взглянул на него сквозь выпуклые стекла пенсне черными, быстрыми глазами.

– Да! – встрепенулся он, – я ее оставил там у вас, в комнате. Она мне теперь не нужна... Вы ее бросьте куда-нибудь, в лес хоть, что ли, где-нибудь в глушь...

– Хорошо, – грустно сказал Сергей. Ему было жаль Валерьяна и хотелось сказать что-то теплое и трогательное, но не было слов, а была тревога и отчужденность.

Маленький, черный человек быстро шел к станции, размахивая руками. Сергей долго смотрел ему вслед, пока худая, низенькая фигурка совсем не превратилась в черную, ползущую точку. Через мгновение ему показалось, что Валерьян обернулся, и он быстро махнул платком, смотря в зеленую пустоту. Ответа не было.

Черная точка еще раз приподнялась, переходя пригорок, и скрылась. Солнце беспощадно палило сухим, желтым светом, и зелень молодой травы сверкала и нежилась в нем. Вдали дро-

¹¹ Макс Штирнер (псевдоним Каспара Шмидта, 1806–1856) – немецкий философ-идеалист, идеолог анархизма и индивидуализма.

¹² Ницше, Фридрих (1844–1900) – немецкий философ-идеалист, один из предшественников фашистской идеологии.

жал и переливался воздух, волнует очертания тонких, как линейки нотной бумаги, изгородей. За рощей вспыхнул белый, клубчатый дымок и тревожно крикнул паровоз.

Идя домой, Сергей вспоминал все сказанное Валерьяну. И жаль было прошлого, неясной, смутной печалью.

VI

Ходить взад и вперед по маленькой комнате, задевая за угол стола и медленно поворачиваясь у желтенькой, низенькой двери, становилось скучно и утомительно. При каждом повороте Сергей прислушивался к упругому скрипу сапожного носка и снова шел, механически отмечая стук шагов. Думать, расхаживая, было удобнее. Он привык к этому еще в тюремной камере, которую чем-то, должно быть, своим размером, странно напоминала его комната.

Волнение давно улеглось, и осталось чувство, похожее на чувство человека, посетившего дневной спектакль: вечерний свет, музыка, игра артистов... Несколько часов он видит и слышит прибранный, поэтический уголок жизни... А потом белый, назойливый день снова царит и грохочет, и снова хочется обманного, золотистого вечернего света.

Плоские, самодовольные обои пестрели вокруг намалеванными, грязными цветочками. Ветер вздувал занавеску, и она слабо шуршала на столе, шевеля клочки бумаги и обгрызанный карандаш. Заглавия книг кидались в глаза, вызывая скуку и отвращение. Серьезные, холодные и нестерпимо надоевшие, они рождали представление о монотонной жизни фабричного мира, бесчисленных рядах цифр, пеньке, сахаре, железе; о всем том, что бывает, и чего не должно быть.

День гас, убегая от городка плавными гигантскими шагами, и следом за ним стлалась грустная тень. Где-то размеренно и сочно застучал топор; перебивая его, быстро заговорил молоток, и два стука, тяжелый и легкий, долго бегали один за другим в затихшем воздухе. Сергей сладко, судорожно зевнул, хрустнул пальцами и остановился против стола.

Между книгами и письменным прибором лежала небольшая, металлическая коробочка, формой и тускло-серым цветом скорее напоминавшая мыльницу, чем снаряд. Было что-то смешное и вместе с тем трагическое в ее отвергнутой, ненужной опасности, и казалось, что она может отомстить за себя, отомстить вдруг, неожиданно и ужасно.

Он вспомнил теперь, что, войдя в комнату, сразу ощутил в ней присутствие постороннего, почти живого существа. Существо это лукаво глядело на него и шупало взглядом, безглазое, – сквозь стенки комода, покорное и грозное, как вспыльчивый раб, готовый выйти из повиновения. Теперь оно лежало на столе, и Сергей смотрел на квадратную стальную коробку с жутким, любопытным чувством, как смотрят на зверя, беснующегося за толстыми прутьями клетки. Хотелось знать, что может выйти, если взять эту скучную с виду вещь и бросить об стену. Острый, тревожный холод пробежал в нем при этой мысли, зазвенело в ушах, а домик, в котором он жил, показался выстроенным из бумаги.

Сумерки вошли в комнату неслышными, серыми тенями. Скука томила Сергея и нетерпеливым зудом тревожила тело. Стараясь прогнать ее, он вспомнил грядущий простор жизни, свою молодость и блеск весеннего дня. Но темнота густела за окном, и скованная ею мысль бессильно трепетала в объятиях нудной, тоскливой неуверенности. От этого росло раздражение и робкая тихая задумчивость. И вдруг, сначала медленно, а затем быстро и яснее зародилась и прозвенела в мозгу старинная мелодия детской, наивной песенки:

...Да-ца-арь, ца-арь, ца-арев сын,
Наступи ты ей на но-жку-да ца-арь, ца-арь,
Ца-арев сын,
Ты прижми ее к сер-деч-ку, да-ца-арь, ца-арь,

Ца-арев сын...

Слабое воспоминание детства колыхнулось как смутный, древний сон и резко заслонилось черной, прыгающей спиной Валерьяна. Она таяла, удаляясь. Сергей стиснул зубы и тупо уставился в стену. И стена, одетая сумраком, смотрела на него, молча и сонно.

«У меня дурное настроение, – подумал он. – Это приходит так же, как и уходит. Оно пройдет. Тогда станет опять весело и интересно жить. В самом деле – чего мне бояться?»

– Сергей – чего тебе бояться? – сказал он вполголоса.

Но мозг не давал ответа и не зажигал мысли, а только грузно и медленно перекатывал камни прошлого. Там были всякие большие и маленькие, темные и светлые. Темные – сырые и скользкие, торопливо падали на старое место, и больно было снова тревожить их.

Он будет жить. Каждый день видеть небо и пустоту воздуха. Крыши, сизый дым, животных. Каждый день есть, пить, целовать женщин. Дышать, двигаться, говорить и думать. Засыпать с мыслью о завтрашнем дне. Другой, а не он, придет в назначенное место и, побледнев от жути, бросит такую же серую, холодную коробку, похожую на мыльницу. Бросит и умрет. А он – нет; он будет жить и услышит о смерти этого, другого человека, и то, что будут говорить о его смерти.

За стеной пили чай, кто-то ворочался на стуле и тяжело скрипел. Бряцали блюда, смутный гул разговора назойливо лез в уши. В сенях хлопнула дверь, и затем в комнату тихо постучали.

– Что там? – встряхнулся, вздрогнув, Сергей.

За дверью женский голос спросил:

– Лампу зажечь вам?

– Зажгите, Дуня. Войдите же.

Девушка, не торопясь, вошла и остановилась темной, живой тенью. Сергей несколько оживился, точно звуки молодого, звонкого голоса освобождали душу от когтей вялого беспредметного уныния.

– Ничего-то ровнешенько не вижу, – сказала Дуня, шаря в темноте. – Где лампа?

– Без керосина совсем, вот здесь – нате!

Он подал ей, осторожно двигаясь, дешевую лампу в чугунной подставке, и пальцы его коснулись тонких, теплых пальцев Дуни.

– Я заправлю, – сказала она. – Сию минуту.

– Ничего, я подожду... Слушайте, Дуня: ну как – катались вчера?

– Ничего мы не катались, – досадливо протянула девушка. – Лодок-то не было. Все, как есть, поразобрали, такая уж досада... А своя еще конопатчика просит... Я сию минуту...

Она бесшумно скользнула в мрак сеней, хлопнув дверью. Сергей заходил по комнате, насвистывая старинную песенку о царе – царице сыне и видел горячую, курчавую головку мальчика, сонно шевелящего пухлыми губками. Он ли это был? Как странно. Но уже становилось веселее и тверже на душе, захотелось уютного света, чаю, интересной книги. То, что думает Валерьян, принадлежит ему и таким, как он; то, что думает Сергей, принадлежит Сергею. В этом вся штука. Не нужно поддаваться впечатлениям.

Далекий призрак каменного города пронесся еще раз слабым, оторванным пятном и растаял, спугнутый шагами прохожих. Шаги эти, тяжелые и неровные, смутно раздалились под окном и замерли, встревожив тишину.

VII

Вошла Дуня, и желтый свет прыгнул в комнату, обнажив стены и мебель, закрытые тьмой. Стало спокойно и весело. Девушка поставила лампу на комод и слегка прикурила огонь.

– Вот так, – сказала она. – Что вы?

– Я ничего не сказал, – улыбнулся Сергей, подымаясь со стула. Заложив руки в карманы брюк, он остановился против Дуни.

– Так-то, – сказал он. – Ну – как вы?

Ему хотелось говорить, шутить и казаться таким, каким его считали всегда: ласковым, внимательным и простым. Никаких усилий это ему никогда не стоило, а сознавать свои качества было приятно и давало уверенность.

Девушка стояла у дверей в ленивой, непринужденной позе, касаясь косяка волосами устало откинутой головы. Сергей смотрел на ее крепкое, стройное тело с завистливым чувством больного, наблюдающего уличную жизнь из окна скучной, бесцветной палаты.

– Что подельвали сегодня? – спросил он, заглядывая в ее темные, смущающиеся глаза.

– Вот спать скоро пойду! – рассмеялась девушка и зевнула, закрыв рот быстрым движением руки. – Уж так ли я устала – все суставчики болят.

– Разве ходили куда?

– Ходила... В лес за шишками. – Дуня снова протяжно зевнула и потянулась ленивым, томным движением. – За шишками еловыми для самовара... Целый мешок приволокла...

«Красивая... – подумал Сергей. – Выйдет за какого-нибудь портного или лавочника. Будет шить, стряпать, нянчить, много спать, жиреть и браниться, как Глафира».

– А вы, небось – опять, поди, за книжку сядете? – быстро спросила Дуня. – Хоть бы мне когда ка-кой-ни-на-есть роман достали... Ужас как люблю, которые интересные... А Пушкина бы вот, – тоже!..

– Дуня-я-а! Ле-ша-ай! – закричала в сенях Глафира привычно сердитым голосом. – К Саньке ступай!..

– А ну тебя! – тихо сказала девушка, прислушиваясь и смотря на Сергея.

– Сейчас! – крикнула она громким, озабоченным голосом и, шумно распахнув дверь, быстрым, цветным пятном скрылась из комнаты. После ее ухода в тишине слышался еще некоторое время шелест ситцевой юбки, а в воздухе, у дверного косяка, блестела розовая улыбка.

И вдруг, как это бывает на улице, когда какой-нибудь прохожий пристально посмотрит сзади, и человек безотчетно оборачивается, чувствуя этот взгляд, – Сергей неожиданно, вспомнив что-то, повернулся к столу. Маленький металлический предмет, похожий на мыльницу, безглазый, тускло смотрел на него серым отблеском граней. Собранный в своих стальных стенках плоды столетий мысли и бессонных ночей, огненный клубок еще не родившихся молний, с доверчивым видом ребенка и ядовитым телом гремучей змеи, – он светился молчаливым, гневным укором, как взгляд отвергнутой женщины. Сергей пристально глядел на него, и казалось, что два врага, подстерегая и затаив дыхание, собирают силы. И человек усмехнулся с чувством злорадного торжества.

– Ты бессильна, – тихо и насмешливо сказал он. – Ты можешь таить в себе ужасную, слепую силу разрушения... В тебе, быть может, спрессован гнев десятка поколений. Какое мне дело? Ты будешь молчать, пока я этого хочу... Вот – я возьму тебя... Возьму так же легко и спокойно, как поднимают репу... Где-нибудь в лесу, где гложет человеческий голос, ты можешь рывкнуть и раздробить сухие, гнилые пни... Но ты не сорвешь мою кожу, не спалишь глаза, не раздавишь череп, как разбивают стекло... Ты не обуглишь меня и не сделаешь из моего тела красное месиво...

Он взял ее, тяжелую, гладкую и холодную. Потом достал полотенце, тщательно и осторожно укутал в него снаряд, надел шапку, положил в карман клубок бечевы, погасил лампу и вышел из комнаты.

VIII

Ночь торжествовала и ширилась, полная тишины и слабых, замирающих звуков. Звезды ярко жгли черное пространство. Земля терялась в мраке, и ноги ступали ощупью в сырой, невидимой траве. Дул ровный, спокойный ветер, изредка замирая, и тогда дышало теплом. Холмики и канавы прятались, медленно выступая темными, уснувшими очертаниями. На горизонте, как далекий пожар, краснел узор месячной полосы.

Шаг за шагом, осторожно подвигаясь вперед, стараясь не запнуться, Сергей обходил кочки и рытвины. Черные, молчаливые кусты шли навстречу неровными, густыми рядами и когда он встречал их – медленно открывали узкие, извилистые проходы, полные лиственного, сырого шороха. Казалось, что они спали днем, ослепленные светом, а теперь проснулись и думают таинственную, старинную думу. Трава подымалась гуще и выше, и ноги ступали в ней с мягким, влажным хрустом. Когда Сергей раздвигал руками кусты, ветви их упорно и быстро выпрямлялись, стегая его в лицо холодными, мокрыми листьями.

Он шел, и казалось ему, что он спит и во сне движется вперед с тяжелым, жутким металлом за пазухой, стерегущим каждый его шаг, каждое сотрясение тела, готовым украсть и разомчать его, одинокого, затерянного, в сонной равнине, полной тайны и безмолвия. Бывшее раньше – вставало теперь длинным, бесконечным сном, и все вокруг – ночь, мрак, сырость и кусты – казалось продолжением этого, одного и того же, вечного, то яркого, то смутного сна.

Ночь шла, бесшумно двигаясь в вышине, и он шел, напряженный, слушающий. Казалось ему, что смерти нет и что он, Сергей, всегда будет жить и чувствовать себя, свое тело, свои мысли. Будет всходить и заходить солнце, леса сгниют и обратятся в прах; исчезнут звери, птицы; одряхлев, рассыплются горы; моря уйдут в недра земли, а он никогда не умрет и вечно будет видеть голубое небо, золото солнца и слушать ночной мрак...

В стороне затрещало, всхлопнуло, и тонкий писк невидимой птицы сонной жалобой скользнул в кусты. Мрак впереди поднялся черной, зубчатой пастью и задышал холодком. Это близился лес; огромное уснувшее тело его печально гудело и шепталось вершинами. Еще несколько шагов, и деревья потянулись вперед слабо различимыми очертаниями, открывая ряды черных, таинственных коридоров. Кусты отступили, сомкнувшись за спиной.

Сергей вошел под хвойные, нависшие своды. Хворост трещал под ногами; впереди темной толпой выходили и расступались деревья. Наверху скрипело и вздыхало, как будто кто-то огромный, мшистый ворочался там, роняя шишки, падавшие вниз с легким, отчетливым шелестом.

Нервная жуть, похожая на робость вора, хватала его, когда трещали прутья, сломанные ногой, и, казалось, вздрагивала тишина. Все спало вокруг, сырое, огромное. Мохнатые лапы елей висели вниз, задевая голову, корявые пни торчали, как уродливые гномы, вышедшие на прогулку. Корни бурелома, вывороченные с землей, чернели узловатыми, кривыми щитами, и за каждым из них кто-то сидел, притаившийся и дикий. Где-то ухало и стонало. Изредка хлопала ночная птица, с шумом усаживаясь повыше и затихая вновь.

Он выбрался на поляну, где было еще печальнее и глуше от темных, ползающих вверху туч, и остановился. Затем бережно положил сверток на землю, развернул полотенце и крепко обмотал бечевками крест-накрест металлический предмет. Потом выбрал дерево с высокими сучьями и, затаив дыхание, привстал на цыпочки, заматывая бечеву от снаряда вокруг сучка так высоко, как только мог достать руками. Привязав к тому же сучку конец другой бечевки, более толстой, он стал разматывать ее, пятясь задом к другой стороне поляны.

Бечевы хватало шагов на тридцать. Когда она кончилась, Сергей лег за огромный высокий пенек, плотно втянув голову в плечи, и, замирая от ожидания, медленно потянул конец.

Бечева упруго натягивалась, дрожала, и вдруг, оробев, Сергей отпустил ее, и сердце его заколотилось.

Но пень был надежен и расстояние достаточно. Тогда он закрыл глаза и, похолодев, дернул изо всех сил.

В ушах болезненно зазвенело. Тишина лопнула огромным, паническим гулом, и мрак прыгнул вверх, ослепив и обнажив зазвеневшим блеском лесную глубину. Взрыв загредел тысячами звонов, тресков и протяжных, хохочущих криков. Шум исступленно заплясал вокруг, растягиваясь беглым, замирающим кругом. Эхо завздыхало, плача тонкими голосами, и сгибло вдали.

Оглушенный и ослепленный ярко-молочным блеском, Сергей поднялся, пошатываясь, с судорожно бьющимся сердцем. В глазах его еще плыл зеленый, вырванный из мрака ударом взрыва, уголок леса. Уши ломило, и в них дробился отчетливый, переливчатый звон. Казалось, пройдет еще мгновение, и тайна тьмы, оскорбленная святотатством, ринется на него всем ужасом лесной, хитрой жути.

Он глубоко вздохнул и выпрямился. Сверху еще падали, дергая за платье и руки, обломки сучьев, комья земли, какие-то палки. Сергей прислушался. Но было тихо, словно ничто не потревожило глушь.

Он торопливо бросился к тому месту, где, минуту назад, на сучке висела плоская, тяжелая коробка. Дерево лежало, разбитое вдребезги у корней, дерн и сырая, взрытая земля громоздились вокруг. На самом месте удара образовалась неровная, продолговатая яма. Он постоял, успокоился и пошел домой.

И снова жадная тьма шла за ним, забегая вперед, а ноги ступали теперь легко и быстро. Снова шли навстречу деревья, раздвигаясь узкими, кривыми проходами. Тишина обнимала пространство, тянулась вверх и кивала темной, неясной зыбью.

IX

Соборный, далекий колокол мягко прогудел одиннадцать раз, когда Сергей, усталый и звинченный, отворял калитку, пролезая под загремевшую цепь. Спать ему совсем не хотелось, и он несколько секунд стоял у крыльца, задумчиво вытирая ладонью влажный, вспотевший лоб.

Теплое звездное небо дышало покоем, и в его черной пропасти стлы волнистые купы деревьев сада, словно гряда туч, севших на землю. Замирая в тишине, стучали где-то шаги, и казалось, что их родит сам воздух, пустой и черный. Стучала колотушка сторожа мягкой деревянной трелью. Трава слабо шелестела под ногами. Сергей вошел в сад, охваченный ароматной, пряной духотой растительной гущи. Листва молчала, как вылитая из железа, и вдруг, оживая в мягком, печальном вздохе, шумела трепетной, переливчатой дрожью. И казалось Сергею, что кудрявые, листовые волны темными объятиями смыкаются вокруг, стремясь поглотить его ленивое, истомленное тело. В черной глубине деревьев красным узором светились окна соседнего домика, как яркие угли, тлеющие в золе.

Где-то, должно быть, во дворе, скрипнула дверь и слегка прошумело. Сергей машинально прислушался, ему показалось, что там ходят. Быть может – Дуня. Но все молчало, и окна спали. Мысли его ушли в комнату хозяйской дочери, где она теперь, вероятно, спит, ворочаясь в жаркой, нагретой постели белым, гибким телом. Так думалось безотчетно и потому приятно. А через мгновение захотелось разговаривать и передать другому сдержанное кипение души, настроенной взволнованно и как-то особенно грустно-хорошо. Сырые тяжелые запахи струились из земли и хмельным паром бродили в голове. Пахло черемухой, яблонью, тмином и гниlostью мокрых пней.

Кусты шархнулись и замерли легким, упругим треском. Кто-то живой, дышащий стоял в темноте, спрятанный черными тенями сада. Сергей встрепенулся и насторожился.

– Кто это?! – негромко спросил он, всматриваясь.

– Кто тут?! – вздрогнул в ответ тонкий, испуганный возглас.

Сергей узнал и улыбнулся.

– Как же это вы, Дуня, не спите? – подзадоривающе протянул он. – Шишек-то, шишек-то что насобирали сегодня! Чай, умаялись ведь?!

– Ох, господи! Перепугали только, аж сердце заколотилось!.. Потому вот и не сплю, что я вам не спрос, а вы мне не указ. – Девушка успокоилась, и уже насмешливые нотки зазвенели в ее голосе. – А вы чего полунощничаете? Может – клад заговариваете?

Она засмеялась тихим, вздрогнувшим смехом. И Сергей подумал, что здесь, вероятно, скрытая мраком, она чувствует себя увереннее и свободнее, чем тогда, когда приходит с лампой, или подметать, неловко поддерживая обрывки разговора.

– Не сплю... – сказал он. – Не спится. Хожу и думаю. Здесь у вас хорошо, в садике.

– Мне-то бы спалось, – лениво отозвалась девушка, – да что-то неохота...

Она помолчала и бросила, усаживаясь на землю:

– Вы вот – ученый... Зачем люди спят?..

– Затем, что сон восстанавливает силы, потраченные в течение дня, – привычно-поучительным тоном сказал Сергей. – Это необходимо...

– Та-ак... – задумчиво протянула Дуня. – Не спится. А голова вот – как кадушка, пустая... Буду сидеть тут, пока сон сморит...

Сергей подошел ближе к девушке. В темноте слышалось ее дыхание, неровное, длинное.

– Так принести вам Пушкина? – спросил он, опускаясь рядом с ней на траву, и вздрогнул, задев рукой отодвинувшуюся Дунину ногу. – А почему вам непременно хочется Пушкина?

– Он стихи пишет, – вздохнула девушка. – Я страсть люблю, ежели хороший стишок... А вы?

– Да, и я, – рассеянно сказал Сергей.

Наступило молчание. И, чем дольше тянулось оно, тем напряженнее подымалось в душе Сергея сладкое, щемящее волнение, тесня дыхание и мысль. Кровь медленно прилиwała в голову. В темноте он видел только смутную белизну женского лица и рук, опущенных на колени. Дуня сидела, слегка подняв голову. Молчание росло, и было сладко и жутко прервать его.

– Дуня! – вдруг отрывисто сказал Сергей, и свой голос, сдавленный, дрогнувший, показался ему чужим. Тревожная жуть выросла в жаркое, расслабляющее волнение, от которого тело сделалось легким, а дыхание – тяжелым и частым.

– Что вы? – поспешно ответила девушка и сейчас же продолжала деланно-беззаботным голосом: – Ах, смотрите! Звездочек-то што! Так и плавают!

Снова настало чуткое, напряженное молчание. Его невидимая нить трепетно протянулась между ними, мешая думать и разговаривать.

– Дуня! – повторил Сергей. Ощупью протянув руку, он коснулся ее пальцев и вздрогнул, чувствуя мягкое, горячее тело. Тяжелый ком рос в его груди, дыша короткими, глубокими сокращениями. Девушка сидела не двигаясь, как сонная. Тогда он сильно сжал ее руку и неловко, краснея в темноте, потянул к себе. Рука упруго сопротивлялась, дрожа в его сильных, горячих пальцах. Заторопился слабый конфузливо-взволнованный шепот:

– Оставьте, ну же... Оставьте... что это?!

Она стала вырывать руку резкими движениями, но, видя, что Сергей уступает, вдруг сильно сдавила его ладонь тонкими, влажными пальцами. Пьяная волна кинулась ему в лицо. Он схватил девушку за руку выше локтя, а другой обнял спереди, сжимая ее упругую грудь и быстро целуя пахучие, пушистые волосы. Дуня слабо вздохнула и затихла, вздрагивая. Сергей торопливо, путаясь, жадными, неловкими движениями расстегнул ее кофту и затрепетал, коснувшись жаркого, влажного тела.

Вдруг она вскочила, отчаянно вырываясь и вытягивая руки вперед. На темном изгибе ее стана судорожно колыхалась белая, смятая рубашка. Отуманенный Сергей бросился к ней, и две тонкие женские руки уперлись ему в грудь, с силой толкнув назад.

– Дуня... милая, – слушайте... что вы?!

– Нет, нет, нет! – зачастила девушка глухим, умоляющим шепотом, покачиваясь и шумно дыша. – Нет, нет!.. Сергей Иваныч, голубчик, не надо!.. Завтра... вам... Завтра скажу!..

Слова ее, как птицы, порхнули мимо Сергея пустыми, бессмысленными звуками. И он снова, волнуясь и торопясь, потянул ее к себе, ломая тонкую мягкую руку.

Дуня рванулась последним, решительным движением, и кусты, прошумев треском и быстрыми шагами – стихли. Через мгновение в глубине двора хлопнула дверь и все смолкло, но Сергею казалось еще, что в темном, сыром воздухе часто и громко стучит испуганное сердце девушки. Иллюзия была так сильна, что он инстинктивно вытянул руку вперед. Рука коснулась пустоты и опустилась. Это стучало его собственное тревожное сердце.

Он сел на землю и, весь дрожа от неостывшего еще возбуждения, приложил к пылающему лицу сырые, холодные листья. Сердце все еще стучало, но уже тише и ровнее. Сад молчал.

Дуня, Валерьян, стальная коробка, взрыв, фальшивый паспорт, снова Дуня – мелькало и путалось в голове неровными, пестрыми скачками. Завтра он уедет из тихого, сонного городка, уедет жить другой, неясной жизнью.

– Жить! – сказал он негромко, прислушиваясь. – Хорошо...

Кирпич и музыка

I

Звали его – Евстигней, и весь он был такой же растрепанный, как имя, которое носил: кудластый, черный и злой. Кудласт и грязен он был оттого, что причесывался и умывался крайне редко, больше по воскресеньям; когда же парни дразнили его «галахом»¹³ и «зимогором»,¹⁴ он лениво объяснял им, что «медведь не умывается и так живет». Уверенность в том, что медведь может жить, не умываясь, в связи с тучами сажи и копоти, покрывавшей его во время работы у доменных печей, приводила к тому, что Евстигнея узнавали уже издали, за полверсты, вследствие оригинальной, но мрачной окраски физиономии. Определить, где кончались его волосы и где начинался картуз, едва ли бы мог он сам: то и другое было одинаково пропитано сажой, пылью и салом.

Себя он считал добрым, хотя мнение татар, катавших руду на вагонетках и живших с ним вместе в дымной, бревенчатой казарме, было на этот счет другое. Скуластые уфимские «князья»,¹⁵ голодом и неурожаем брошенные на заработки в уральский лес, всегда враждебно смотрели на Евстигнея и всячески препятствовали ему варить свинину на одной с ними плите, где, в жестяных котелках, пенился и кипел неизменный татарский «махан».¹⁶ Это, впрочем, не мешало Евстигнею регулярно каждый день ставить на огонь котелок с варевом, запрещенным кораном. Татары морщились и ругались, но хладнокровие, в трезвом виде, редко изменяло Евстигнею.

– Кончал твоя башка, Стигней! – говорили ему. – Пропадешь, как собака!

Евстигней обыкновенно молчал и курил, сильно затягиваясь. Татарин, ворчавший на него, садился на нары, болтал ногами и улыбался тяжелой, нехорошей улыбкой.

– Зачем так делил? – снова начинал противник Евстигнея, часто и хрипло дыша. – Мой закон такой, – твой закон другой... Чего хочешь?

Евстигней мешал в котелке и, наконец, говорил:

– Жрать я хочу, знаком, и боле никаких... Вопрос: кто ты? Ответ: арбуз. А это ты, знаком, слышал: Алла муллу чигирит в углу?

– Анна секим! – вскрикивал татарин. Потом ругался русской и татарской бранью, плевался и уходил. Евстигней доканчивал варку, садился на нары, поджав ноги по-татарски, и долго, жадно ел горячее, жирное мясо. Потом сморкался в рукав и шел к домне.

Впрочем, он и сам не знал – зол он или добр. По воскресеньям, пьяный, сидя в трактире среди знакомых хищников и «зимогоров», он громко икал, обливаясь водкой, нелепо тарасил брови и говорил:

– Я – добер! Я – стр-расть добер! В сопатку, к примеру сказать, я тебя не вдарю – ты не можешь стерпеть... Другие, которые пером (нож) обходятся... Этого я дозволить, опять же, не могу... Если ты могишь совладать – завсегда в душу норови, пока хрип даст...

Пьяный, к вечеру он делался страшен, бил посуду, бил кулаками по столу, кричал и дрался. Его били, и он бил, захлебываясь, долго и грузно опуская огромные жилистые кулаки в тело противника. Когда тот «давал хрип», то есть попросту делался полумертвой, окровав-

¹³ Галах (местн.) – пьяница, забулдыга.

¹⁴ Зимогор (обл.) – бродяга, босяк.

¹⁵ Уфимские «князья» – в дореволюционной России насмешливое прозвище татар.

¹⁶ Лошадиное мясо.

ленной массой, Евстигней подымался и хохотал, а потом снова пил и кричал диким, нелепым голосом.

Ночью, когда все затихало, и в спертom, клейком воздухе казармы прели вонючие портянки и лапти; когда смутные, больные звуки стонали в закопченных бревенчатых стенах, рожденные горами тел, разбитых сном и усталостью, Евстигней вскакивал, ругался, быстро-быстро бормоча что-то, затем бессильно опускал голову, скреб волосы руками и снова валился на твердые, гладкие доски. А когда приходил час ночной смены и его будили сонные, торопливые руки рабочих, – подымался, долго чесал за пазухой и шел, огромный, дремлющий, туда, где дышали пламенем бессонные, черные печи, похожие на сказочных драконов, увязших в сырой, плотной земле.

II

Наступал праздник; двенадесятый¹⁷ или просто воскресный день. Евстигней просыпался, брал железный ковш, шел на двор, черпал воду из водосточной кадки и, плеснув изо рта на ладонь, осторожно размазывал грязь на лице, всегда оставляя сухими черную шею и уши. И тогда можно было разглядеть, что он молод, крепок и смугл, хотя его широкому, каменному лицу с одинаковой вероятностью хотелось дать и двадцать и тридцать лет. Потом надевал городской, обшмыганный пиджак, тяжелые, «приисковские» сапоги с подковами и шел, по его собственному удачному выражению – «гулять».

«Гулянье» происходило всегда очень нехитро, скучно и заключалось в следующем: Евстигней садился на крыльце трактира, рядом с каким-нибудь мужиком, молчаливо грызущим семечки, и начинал ругаться со всеми, кто только шел мимо. Шла баба – он ругался; шли парни – он задевал их, смеясь их ругательствам, и ругался сам, лениво, назойливо. Он был силен и зол, и его боялись, а пьяного, поймав где-нибудь на свалке, – молча и сосредоточенно били. И он бил, а однажды проломил доской голову забойщику с соседнего прииска; забойщик умер через месяц, выругав перед смертью Евстигнея.

– Стой, ядреная, стой! – кричал Евстигней с крыльца какой-нибудь молоденькой, востроглазой бабенке в ярком цветном платке. – Стой! Куда прешь!

– Вот пса посадили, слава те господи! – отвечала, вздыхая, баба. – Хошь вино-то цело будет... Лай, лай, собачья утроба!..

– Куда те прет? – кричал Евстигней. – В зоб-то позвони, эй! слышь? Зобари проклятые...

– Лай, лай, – дам хлеба каравай! – отругивалась баба, оборачиваясь на ходу. – Зимогор паршивый! Галах!

– Валял я тебя с сосны, за три версты, – хохотал Евстигней. – Зоб-то подыми!..

Мужик, грызущий семечки, или одобрительно ухмылялся даровому представлению, или говорил сонным, изнемогающим голосом:

– Охальник ты, пра... Мотри – парни те вышибут дно.

– Ого-го! – Евстигней тряс кулаком. – Утопнут!..

Если в поле его зрения появлялась заводская молодежь, одетая по-праздничному, с гармониями в руках – он набирал воздуха, тужился и начинал петь умышленно гнусавым, пискливым голосом:

Ма-а-мынька-а р-роди-мая-а,
Свишша-а неу-гасимая-а!..
Когда-а свишша-а по-га-сы-нет,

¹⁷ Двенадесятый (слав.) – двенадцатый. Здесь один из 12 главных праздников православной церкви.

Тог-да д'милка при-ла-сы-не-ет!..¹⁸

И кричал:

– Чалдон!¹⁹ Сопли где оставил?

Парни угрюмо, молча проходили, продолжая играть. И только на повороте улицы кто-нибудь из них оборачивался и, заломив шапку, говорил спокойным, зловещим голосом:

– Ладно!

Улица пустела, солнце подымалось выше и нестерпимо жгло, а Евстигней сидел и смотрел вокруг злыми, скучающими глазами. Затем подымался, шел в трактир и, долго сидя в сумрачной, отдающей спиртом прохладе свежеобтесанных стен, пил водку, курил и бушевал.

III

Был вечер, и было тихо, жарко, и душно.

Багровый сумрак покрыл горы. Они таяли, тускнея вдали серо-зелеными, пышными волнами, как огромные шапки невидимых, подземных великанов. На дворе, где стояла казарма, сидели татары и громко, пронзительно пели резкими, гортанными голосами. Увлечшись и краснея от напряжения, смотря и ничего не видя, они вздрагивали, надрываясь, и в вопле их, монотонном, как скрип колеса, слышалось ржание табунов, шум степного ветра и неприятный верблужий крик.

Поужинав, сытый и уже слегка пьяный, Евстигней вышел на двор, долго, неподвижно слушал дикие, жалобные звуки, и затем осторожно ступая босыми ногами в колючей, холодной от росы траве, подошел к поющим. Те мельком взглянули на него, продолжая петь все громче, быстрее и жалобнее. Евстигней цыркнул слюной в сторону и сказал:

– Корова вот тоже поет. Слышь, князь? – Молодой татарин, бледный, с добродушным выражением черных, глубоко запавших глаз, обернулся, улыбнулся Евстигнею бессознательной, мгновенной улыбкой и снова взвыл тонким жалобным воплем. Евстигней сел на траву и закричал:

– Эй, вей-вей-ве-е! И-ий-вае-вае-у-у! Что вы кишки тянете из человека? Эй?!.

Пение неохотно оборвалось, и татары взглянули на неприятеля молчаливо злыми, сосредоточенными глазами. Прошло несколько мгновений, как будто они колебались: рассердиться ли на этого чужого, мешающего им человека или обратить в шутку его слова. Наконец один из них, пожилой, толстый, с коричневым лицом и черной тубетейкой на голове, громко сказал:

– Ступай себе – чего хочешь? Не любишь – сам пой. Добром говорю.

– Христом богом прошу! – не унимался Евстигней, оскаливая зубы и притворно кланяясь. – Живот разболелся, как от махана. Одна была у волка песня – и ту...

Он не договорил, потому что вдруг встал маленький, молодой, почти еще совсем мальчик и близко в упор подошел к Евстигнею. Татарин тяжело дышал и закрывал глаза, а когда открывал их, лицо его пестрело красными и бледными пятнами. Он шумно вздохнул и сказал:

– Стигней, моя терпел! Месяц терпел, два терпел! Ступай!..

Остальные молчали и враждебно, с холодным любопытством ожидали исхода столкновения. Евстигней вскочил, как ошпаренный, и выругался:

– Анан секим! Ты што, – бритая посуда?!

– Слушай, Стигней! – продолжал татарин гортанным, вздрагивающим голосом и побледнел еще больше. Глаза его сузились, под скулами выступили желваки. – Слушай, Стигней: я терпел, мольчал, долга мольчал... Ты знай: богом тебя клянусь, – пусть я помирал, как

¹⁸ «Маменька родимая, свеча неугасимая...» – слова из народной песни XIX века.

¹⁹ Чалдон (обл.) – коренной житель Сибири.

собака... Пусть я матери своей не увижу – если я тебя тут на месте не кончал... Слыхал? Ступай, Стигней, уходи...

Узкий, острый нож блеснул в его руках, и глаза вспыхнули спокойной, беспощадной жестокостью. Евстигней смотрел на него, соображал – и вдруг почувствовал, как быстро упало, а потом бешено заколотилось сердце, выгнав на лицо мелкий, холодный пот. Он осунулся и тихо, оглядываясь, отошел. Татарин, весь дрожа, сел в кружок, и снова скрипучий, тоскливый мотив запрыгал в тишине вечера.

IV

Евстигней вышел со двора и часто, тяжело отдуваясь, обогнул забор, где за казармой чернел густой таинственный лес. Злоба и испуг еще чередовались в нем, но он скоро успокоился и, шагая по тропинке среди частого мелкого кедровника, думал о том, какую пакость можно устроить татарину в отместку за его угрозу. Но как-то ничего не выходило и хотелось думать не об Ахметке и его ноже, а о влажном, тихом сумраке близкой ночи. Но и здесь мысли вились какие-то нескладные и сумбурные, вроде того, что вот стоит уродливое, корявое дерево, а за ним черно; или – что до получки еще далеко, а денег мало, и в долг перестали верить.

Тьма совсем уже вошла в чашу, и становилось прохладно. Со стороны завода вставал густой, дышащий шум печей, звяканье железа, бранчливые скучные выкрики. Тропа вела кверху, на подъем лесного пригорка, круто извиваясь между стволами и кустарником. Кедровая хвоя трогала Евстигнею за лицо, а он бесцельно шел, и казалось ему, что мрак, густеющий впереди, – это татарин, отступающий задом, по мере того, как он, Евстигней, грудью идет и надвигается на него. Пугливый шорох и плавный шепот вершин таяли в вышине. Небо еще сквозило вверху синими, узорными пятнами, но скоро и оно потемнело, ушло выше, а потом пропало совсем. Стало черно, сыро и холодно.

И вдруг, откуда-то и, как показалась Евстигнею, со всех сторон, упали в тишину и весело разбежались мягкие, серебряные колокольчики. Лес насторожился. Колокольчики стихли и снова перебежали в чаще мягким, переливчатым звоном. Они долго плакали, улыбаясь, а за ними вырос низкий, певучий звон и похоронил их. Снова наступило молчание, и снова заговорили звуки. Торжественно-спокойные, кроткие, они ширились, уходя в вышину и, снова возвращаясь на землю, звенели и прыгали. Опять засмеялись и заплакали милые, переливчатые колокольчики, а их обнял густой звон и так, обнявшись, они дрожали и плыли. Казалось, что разговаривают двое, мужчина и девушка, и что одна смеется и жалуется, а другой тихо и торжественно утешает.

Евстигней остановился, прислушался, подняв голову, и быстро пошел в направлении звуков, громче и ближе летевших к нему навстречу. Ради сокращения времени, он свернул с тропы и теперь грудью, напролом, шагал в гору, ломая кусты и вытянув вперед руки. Запыхавшись, мокрый от росы, он выбрался, наконец, на опушку, перевел дух и прислушался.

Это была широкая, темная поляна, и на ней, смутно белея во мраке, стоял новый, большой дом «управителя», как зовут обыкновенно управляющих на Урале. «Управителя» все считали почему-то «французом», хоть он был чисто русский, и имя носил самое русское: Иван Иваныч. Окна в доме горели, открытые настежь, и из них выбегал широкий, желтый свет, озаряя густую, темную траву и низенький, сквозной палисад. В окнах виднелась светлая, просторная внутренность помещения, мебель и фигуры людей, ходивших там. Кто-то играл на рояле, но звуки казались теперь не пугливыми и грустными, как в лесу, где они бродили затерянные, тихие, а смелыми и спокойными, как громкая, хоровая песня.

Евстигней подошел к дому и стал смотреть, облокотившись на колья палисада. Сбоку, недалеко от себя, у стены, разделявшей два окна, он видел белые, прыгающие руки тоненькой женщины в красивом, голубом платье, с высокой прической черных волос и бледным, детским

лицом. Она остановилась, перевела руки в другую сторону и снова, как в лесу, засмеялись и разбежались колокольчики, прыгая из окон, а их догнал густой, певучий звон и, обнявшись, поплыл в темноту, к лесу.

– Ишь ты! – сказал Евстигней и, переступив босыми ногами, снова стал смотреть на проворные, тонкие руки женщины. Она все играла, и казалось, что от этих бегающих рук растет и ширится небо, вздыхая, колышется воздух и ближе придвинулся лес. Евстигней навалился грудью на частокол, но дерево треснуло и закрипело, отчего звуки сразу угасли, как пламя потушенной свечи, а к окну приблизилась невысокая, тонкая фигура, ставшая загадочной и черной от темноты, висящей снаружи. Лица ее не было видно, но казалось, что оно смотрит тревожно и вопросительно. С минуту продолжалось молчание, и затем тихий, неуверенный голос спросил:

– Кто там? Тут есть кто-нибудь?

Евстигней снял шапку, мучительно покраснел и выступил в пятно света, падавшее из окна. Женщина повернула голову, и теперь было видно ее лицо, тонкое, капризное, с широко открытыми глазами.

Евстигней откашлялся и сказал:

– Так что – проходя мимо... Мы здешние, с заводу...

– Что вам? – спросила женщина громче и тревожнее. – Кто такой?... Что нужно?

– Я с заводу, – повторил Евстигней, ослабляясь. – Проходя мимо...

– Ну, что же? – переспросила она, уже несколько тише и спокойнее. – Идите, любезный, с богом.

– Это вы – на фортупьяне? – набрался смелости Евстигней. – Очень, значит, – того... Я... проходя мимо...

Женщина пристально смотрела, с тревожным любопытством разглядывая огромную, всклокоченную фигуру, как смотрят на интересное, но противное насекомое. Потом у нее дрогнули губы, улыбнулись глаза, запрыгал подбородок и вдруг, откинув голову, она залилась звонким, неудержимым хохотом. Евстигней смотрел на нее, мигая растерянно и тупо, и неожиданно захохотал сам, радуясь неизвестно чему. От смеха заухал и насторожился мрак. Было сыро и холодно.

Она перестала смеяться, все еще вздрагивая губами, перестал смеяться и Евстигней, не сводя глаз с ее темной, тонкой фигуры. Женщина поправила волосы и сказала:

– Так, как же... Проходя мимо?

– То есть, – Евстигней развел руками, – я, значит, – шел... Слышу это...

– Ступай, любезный, – сказала женщина. – Ночью нельзя шляться...

Евстигней замолчал и переступил с ноги на ногу. Окно захлопнулось. Он постоял еще немного, разглядывая большой новый дом «француза» Ивана Иваныча, и пошел спать, а дорогой видел светлые комнаты, освещенную траву, и думал, что лучше всего будет, если он испортит татарину его новый жестяной чайник. Потом вспомнил музыку и остановился: показалось, что где-то далеко, в самой глубине леса – поет и звенит. Он прислушался, но все было темно, сыро и тихо. Слабо шурша, падали шишки, вздыхая, шумел лес.

V

Следующий день был воскресный. Когда наступало воскресенье или еще что-нибудь, Евстигней надевал сапоги, вместо лаптей, шел в село и напивался. Пьяному ему всегда было сперва ужасно приятно и весело, жизнь казалась легкой и молодцеватой, а потом делалось грустно, тошнило и хотелось или спать, или драться.

Жар спадал, но воздух был еще ярок, душен и зноен. С утра Евстигней успел побывать везде: в церквях, откуда, потолкавшись минут десять среди поддевок, плисовых штанов и крас-

ных бабьих платков, вышел, задремавший и оглушенный ладаном, у забойщиков с соседнего прииска, где шла игра в короли и шестьдесят шесть, и, наконец, в лавке, где долго разглядывал товары, купив, неизвестно зачем, фунт засохших, крашенных пряников. Скука одолевала его. Послonyaвшись еще по улицам и запылив добела свои тяжелые подкованные сапоги, Евстигней пошел в трактир, лениво переругиваясь по дороге с девками и заводскими парнями, сидевшими на лавочках. Он был уже достаточно пьян, но держался еще бодро и уверенно, стараясь равномерно ступать свинцовыми, непослушными ногами. Рубаха его промокла до нитки горячим клейким потом и липла к спине, раздражая тело. Пот катился и по лицу, горящему, красному, мешаясь с грязью. Добравшись до трактира, Евстигней облегченно вздохнул и отворил дверь.

Здесь было сумрачно, пахло пивом и кислой капустой. У стен за маленькими, грязными столами сидели посетители, пили, ели, целовались, стучали и быстрыми, возбужденными головами разговаривали наперерыв, не слушая друг друга. Сизый туман колебался вверху, касаясь голов сидящих неясными зыбкими очертаниями. В углу хором, нестройно и пьяно пели «Ермака».

Евстигней остановился посредине помещения, поворачивая голову и тоскливо блуждая глазами. Сам он плохо понимал, чего ему хочется – не то сесть на пол и не двигаться, не то разговаривать, не то выпить еще так, чтобы все зашаталось и завертелось вокруг, одевая последние крохи сознания тяжелым, черным угаром. Низенький мужик в новом картузе стоял перед ним и, беспрестанно потягивая козырек, что-то говорил, сгибаясь от смеха.

– Как он-на-яво!.. – прыгали в ушах громкие, икающие слова, обращенные, по-видимому, к нему, Евстигнею. – Ты грит, сына свою куда девал? Снохач ты! А он-то, милая душа, без портов. Трусится... Ты сякая, ты такая... Не-ет! Стой! По какому праву? Где в законе указание есть?

– Го-го! – гоготал Евстигней. – Без портов? На что лучше.

– Как он-на... яво, то-ись! Пшел, хрен! Ха-ха-ха! Вот ведь что антиресно!

Низенький мужик в картузе куда-то исчез, а в стороне послышались слова: «Как она-яво... Вот ведь!»

Черный квадратный столик, за который уселся Евстигней, был пуст. Он потребовал водки, соленых грибов, налил в пузатый граненый стаканчик и выпил. Вино обожгло грудь,хватило дыхание. Как будто стало светлее. Он налил еще и еще, медленно вытер усы и уставился в стену тяжелым, бессильным взглядом.

Кто-то сел рядом – один, другой. Евстигней что-то спрашивал, рассудительно и толково, но не зная что; ему отвечали и хлопали его по плечу. Принесли еще водки, и все качалось кругом и вздрагивало, темное, мерзкое. Вспыхнул огонь. Трактир суживался, растягивался, и тогда Евстигнею казалось, что лица сидящих перед ним где-то далеко мелькают и прыгают желтыми бледными кругами, а на кругах блестят точки-глаза. Потом стали кричать, икая и ласково переругиваясь скверной бранью, и опять Евстигней не знал, что кричат и зачем ругаются, хотя ругался сам и смеялся, когда смеялись другие. И от смеха становилось еще горче, тошнее, и все тянулось изнутри его мутными, зелеными волнами.

Крик и шум усиливался, рос, бил в голову, звенел в ушах. Пели громко, нестройно, пьяно, и все пело вокруг, плясали стены; потолок то падал вниз, то уходил вверх, и тогда качалась земля. Вдруг Евстигней приподнялся, подпер голову кулаками и с трудом огляделся вокруг. Потом открыл рот и начал кричать долгим пронзительным криком:

– У-ы-ы! У-ы-ы! У-ы-ы!

Кто-то тряс его за плечо, кто-то сказал:

– Нажрался, сопля.

– А ты – татарская морда! – заявил Евстигней, смотря в угол. – Я нажрался... а ты, гололобый арбуз, м-мать твою растак!.. – И вдруг прилив бешеной тоскливой злобы вошел в него и

растерзал душу. Он встал, покачнулся и наотмашь ударил в сторону. Хрястнуло что-то мягкое, кто-то ахнул и злобно вскрикнул, чем-то тяжелым ударили сзади, и больно заныл череп. Кто-то бил его, он бил кого-то, потом земля ушла из-под ног, и тело, ноющее от ударов, поднялось и пошло, бессильное, тяжелое. Кто-то тащил его, и он кого-то тащил, упираясь и захлебываясь криком и руганью. Потом хлопнула дверь, стало сыро, темно и холодно. Ветер пахнул в лицо; застучали колеса. Евстигней медленно поднялся и тихо, шатаясь и держась за голову, пошел прочь.

VI

На воздухе дышалось легче, и хмельной угар понемногу выходил, но все еще было смутно и тяжело. Сперва ноги ступали в мягкой пыли, холодной от свежести вечера, потом зашумела трава, и густая сырость за клубилась вокруг. Жалобно пели комары, навстречу шли кусты, черные, строгие, как тишина. Евстигней все шел, изредка спотыкался, останавливался и затем снова устремлялся вперед, икая и размахивая руками. Ему было немного жутко, казалось, что вот вдруг растает земля, мрак повиснет над пропастью, и он, Евстигней, упадет туда в холодную, черную бездну, и никто, никто не услышит его крика. Иногда дерево вставало перед ним, невидимое; он обнимал его, ругался и опять двигался, кряхтя, медленным, черепашьям шагом. Ему казалось, что он забыл что-то и должен отыскать непременно сейчас, иначе придет татарин и зарежет его или прибежит низенький мужик в картузе, расскажет про снохача и ударит. Беспokoйно оглядываясь вокруг, он шел в темноте и бормотал:

– С-с ножом? Я-те дам нож! Махан проклятый!

Иногда чудилось, что кто-то бегаёт в кустах, невидимый, мохнатый, грозный, и дышит теплым, сырым паром. Евстигней вздрагивал, торопливо вытягивал руки, останавливался, слушая смутный, далекий шорох, и снова двигался, с трудом, неловкими, пьяными движениями продирая кусты. Когда же впереди блеснул огонек и расступился лес – он удивился и прислушался: ему показалось, что где-то поет и переливается тонкий, протяжный звон. Но все молчало. Лес ронял шишки, гудел и думал.

Теперь были освещены два окна, а третье, откуда вчера Евстигней вежливо предложили уйти – тонуло в мраке и казалось пустым, черным местом. В окнах сверкала мебель, картины, висящие на стенах, и светлые, пестрые обои. Евстигней подумал, постоял немного, и, как вчера, тихими, крадущимися шагами перешел от опушки к палисаду. Сердце ударило тяжело, звонко, и от этого зазвенела тишина, готовая крикнуть. Окно загадочно чернело, открытое настежь, а в глубине его тянулась узкая, слабая полоска света из дверей, притворенных в соседнюю комнату.

Он стоял долго, облокотившись о палисад, решительно ничего не думая, сплевывая спиртную горечь, и ему было скучно и жутко. Где-то в лесу поплыли слабые отзвуки голосов и, едва родившись, умерли. Вдруг Евстигней вздрогнул и встрепенулся: прямо из окна крикнули сердитым, раздраженным голосом:

– Кто там?!

– Эт-то я, – опомнившись, так же громко сказал Евстигней пьяными, непослушными губами. – Потому, к-как, я всеконечно пьян и не в состоянии... Предоставьте, значит, тово... Проходя мимо.

Он прислушался, грузно дыша и чувствуя, как нечто тяжелое, полное дрожи, растет внутри, готовое залить слабый отблеск хмельной мысли угаром слепой, холодной ярости. Секунды две таилось молчание, но казалось оно долгим, как ночь. И вслед за этим в глубине комнаты крикнул дрожащий от испуга женский голос; тоскливое, острое раздражение слышалось в нем:

– Коля! Да что же это такое? Тут бог знает кто шляется по ночам! Коля!

Дверь в соседнюю, блестящую полоской света комнату распахнулась. Из мрака выступили мебель, стены и неясная, тонкая фигура женщины. Евстигней крикнул, быстро нагнулся и выпрямился. Кирпич был в его руке. Он размахнулся, с силой откинувшись назад, и стекла с звоном и дребезгом брызнули во все стороны.

– Стерва! – взревел Евстигней. – Стерва! Мать твою в душу, в кости, в тряпки, в надгробное рыданье, в гробовую плиту растак, перетак!

Лес ожил и ответил: «Гау-гау-гау!»

– Стервы! – крикнул еще раз Евстигней и вдруг, согнувшись, пустился бежать. Деревья мчались ему навстречу, цепкая трава хватала за ноги, кусты плотными рядами вставали впереди. А когда совсем уже не стало сил бежать и подкосились, задрожав, ноги – сел, потом лег на холодную, мшистую траву и часто, быстро задышал, широко раскрывая рот.

– Стерва, сукина дочь! – сказал он, прислушиваясь к своему хриплому, задыхающемуся голосу. И в этом ругательстве вылилась вся злоба его, Евстигнея, против светлых, чистых комнат, музыки, красивых женщин и вообще – всего, чего у него никогда не было, нет и не будет.

Потом он уснул – пьяный и обессиленный, а когда проснулся, – было еще рано. Тело ныло и скулило от вчерашних побоев и ночного холода. Красная заря блестела в зеленую, росистую чашу. Струился пар, густой, розовый.

– Фортупьяны, – сказал Евстигней, зевая. – Вот те и фортупьяны! Стекла-то, вставишь, небось...

Стукнул дятел. Перекликались птицы. Становилось теплее. Евстигней поднялся, размятая окоченевшие члены, и пошел туда, откуда пришел: к саже, огню и усталости. Его страшно томила жажда. Хотелось опохмелиться и выругаться.

Марат

Другу моему Вере

I

Мы шли по улице, веселые и беззаботные, хотя за нами след в след ступали две пары ног и так близко, что можно было слышать сдержанное дыхание и ровные, крадущиеся шаги. Не останавливаясь и не оглядываясь, мы шли квартал за кварталом, неторопливо переходя мостовые, рассеянно оглядывая витрины и беззаботно обмениваясь замечаниями. Ян, товарищ мой, приговоренный к смерти, сосредоточенно шагал, смотря прямо перед собой. Его смуглое, решительное лицо с острыми цыганскими скулами было невозмутимо, и только щеки слегка розовели от долгой ходьбы. И в такт нашим шагам, шагам мирных обывателей, делающих моцион, раздавалось упорное, ползущее шарканье. Гнев ядовитым приливом колыхался в моем сердце, и страшное, неудержимое желание щекотало мускулы, – желание обернуться и смачно, грузно влечь пощечину в потное, рысье лицо шпиона. Сдержанным, но свободным голосом я объяснял Яну преимущества бессарабских вин.

– В них, – сказал я, выразительно и авторитетно расширяя глаза, – есть скрытые прелести, доступные пониманию только в трезвом виде. К числу их надо отнести водянистую сухость и большое количество дубильной кислоты... Первое усиливает аппетит, второе укрепляет желудок. Правда, в венгерских и испанских винах больше поэзии, игры, нюансов... Но, уверяю вас, – после двух, трех бутылок деми-сека²⁰ воображение переносит в широкие, солнечные степи, где смуглые полные руки красавиц молдаванок плетут венки из виноградных листьев...

Ян криво усмехнулся и, расставив ноги, остановился у лотка с апельсинами. Пламенные глаза его устремились на красную бархатную поверхность плодов, позолоченных июльским солнцем. Он крикнул и сказал:

– Смерть люблю апельсины! Пусть мы будем буржуи и купим у этого славного малого десяток мандаринчиков...

– Пусть будет так!.. – согласился я таким мрачным тоном, как если бы дело шло о моей голове. – Да процветает российская мелкая торговля!

Коренастый ярославец глядел нам в глаза и, без сомнения, видел в них серебряные монеты, отныне принадлежащие ему. Он засуетился, рассыпавшись мелким бесом.

– Десяток этих – три двугривенных, шестьдесят копеек! – предупредительно объяснил он. – Завернуть позволите? Хорошо-с!

Он взял с лотка белый новенький мешочек. В таком же точно пакете, только серого цвета, я нес свой чернослив, купленный по дороге. И вдруг мне стало завидно Яну. У него апельсины будут лежать в белой, как снег, бумажке, а у меня в серой и грязной! Решив сказать ему об этом, я предварительно случайно бросил взгляд в сторону профилей, прикрытых котелками, и был приятно изумлен их настойчивостью в деле изучения дамских корсетов, вывешенных за стеклом магазина. Тогда я дернул Яна за рукав и обиженно заметил:

– Дорогой мой! Не находите ли вы, что белый цвет бумаги режет глаза?

Ян, казалось, искренно удивился моему замечанию, потому что раза два-три смигнул, стараясь догадаться. Тогда я продолжал:

²⁰ Деми-сек (фр. demi-sec) – полусухое. Сорт вина.

– От молодых ногтей и по сию пору я замечал, что белый цвет вредит зрению. По этой причине я всегда ношу свои покупки исключительно в бумаге серого цвета...

– Бедняга... – сказал Ян, пожимая плечами. – Вам вредно пить много бессарабского... Впрочем, для вас я готов уступить. Нет ли у вас серого мешочка?

Детина растерянно улыбнулся торопливой, угодливой улыбкой, долженствовавшей изображать почтение к фантазии барина, и мгновенно выдернул из-под кучи оберточной бумаги толстый серый пакет. Положив в него апельсины, он сказал:

– Милости просим, ваше-ство! Ежели когда!.. Самые хорошие...

Мы пошли дальше, не оглядываясь, но я чувствовал сзади жадные, бегающие глаза, с точностью фотографических аппаратов отмечающие каждое наше движение. Вокруг нас, обгоняя, встречаясь и пересекая дорогу, проходили разные люди, но в шарканьи десятков ног неумолимо и упорно выделялись назойливые, как бег маятника, шаги соглядатаев. Нахальное, почти открытое преследование заставляло предполагать одно из двух: или близкую, неотвратимую опасность, или неопытность и халатность преследующих.

Как будто дразня и весело насмехаясь, извозчики вокруг наперерыв предлагали свои услуги. Соблазн был велик, но мы, мирные обыватели, потихоньку шли вперед, наслаждаясь солнцем, теплом и бодростью собственного, отдохнувшего за ночь тела. У бульвара, сбегавшего по наклонной плоскости вниз широкой, кудрявой аллеей, Ян вздохнул и сказал:

– Пойдемте бульваром, дружище. На улице становится жарко.

Мы свернули на сырой, утоптаный песок. Густые, прохладные тени кленов трепетали под ногами узорными, дрожащими пятнами. Впереди, в перспективе бульвара, ослепительно горели золотые луковицы монастыря. На скамейках сидели одинокие фигуры гуляющих. И вдруг навстречу нам, кокетливо повертывая плечиками, прошла очаровательная дамочка, брюнетка. Озабоченное выражение ее цветущего личика забавно противоречило пухлому, детскому рту. Восхищенный, я щелкнул пальцами и обернулся, проводив красавицу долгим, слюнявым взглядом. Но тут же ее стройный колеблющийся корпус заслонили два изящных, черных котелка, неутомимых, беспокойных и рыщущих. Вздохнув, я посмотрел на Яна. Лицо его было по-прежнему до глупости спокойно, но гонкие, нервные губы слегка пожевывали, как бы раздумывая, что сказать. Бросив умиленный взгляд на купол монастыря, он произнес громким, растроганным голосом:

– В детстве я был набожен и таковым остался до сих пор. Когда я вижу светлые кресты божьего храма, бесконечное благоговение наполняет мою душу. Сегодня я слушал обедню в церкви Всех святых. Батюшка сказал сильную, прочувствованную речь о тщете всего мирского. Истинный христианин!..

Он перевел дух, и мы снова прислушались. Но песок упорно, неотступно хрустел сзади. И это не помогало! Религия оказывалась бессильна там, где преследовались высшие государственные цели. Я сразу понял тщету набожности и развернул перед Яном нараспашку всю глупину своего испорченного, развращенного сердца.

– Охота вам быть монахом! – сказал я тоном старого опытного кутилы. – Поверьте мне, что если в жизни и есть что хорошее, – то это карты, вино... и девочки!..

И я пустился во все тяжкие, смакуя мерзости блюда всех видов и сортов. Начав с естественных, более или менее, отношений и подчеркнув в них остроту некоторых моментов, я готовился уже пуститься в изложение и защиту педерастии, как вдруг шляпа, плохо сидевшая на моей голове, упала и откатилась назад. Пользуясь счастливым случаем, я вернулся за ней, поднял и бросил внимательный взгляд в глубину аллеи. Они еще шли, усталые, лениво передвигая ноги, но уже настолько далеко, что, очевидно, уверенность их в нашей принадлежно-

сти к организации была сильно поколеблена моим восторженным гимном культу Венеры и Астарты.²¹

Ян, измученный, с наслаждением опустил на первую попавшуюся скамейку. Я сел рядом с ним и прислонил свой пакет с черносливом к мешочку с апельсинами. Серая, оберточная бумага тускло выделялась на черном фоне наших пальто, невинная и страшная в своей кажущейся незначительности.

Несколько секунд мы молчали, и затем Ян заговорил:

– Итак, товарищ, наступает день... Я совершенно спокоен и уверен в успехе. Ваш гостинец я немедленно отнесу к себе, а вы идите домой и позовите, пожалуйста, Евгению с братом. Пусть нас будет только четверо... Мне хочется покататься на лодке и посмотреть на их хорошие, дружеские лица... Так мне будет легче... Хорошо?

– Конечно, Ян. Вам необходимо рассеяться для того, чтобы завтра иметь возможность сосредоточиться...

– Вот именно... И положение интересное: нас будет четверо – двое не знают и не будут знать, а мы с вами знаем... Надеюсь, что скучно не будет. Только...

– Что?

– Ведь это, собственно говоря, полное отрицание всякой конспирации... Но я придумал: мы с вами переедем на тот берег, они приедут после... Вы приходите в семь часов к пристани у лесопильного завода... Возьмите вина, конфет... Я очень люблю раковые шейки...

– Чудесно, Ян! Когда стемнеет.

– Да... А что же вы им скажете?

– Ну! Мало ли что. Скажу, что вам нужно экстренно ехать, что ли... Вообще положитесь на меня.

– Спасибо!..

Он пожал мне руку и поднял глаза. Они горели, и цыганские скулы еще резче выступали на бледном лице. Затем Ян зевнул и задумался.

– Я тороплюсь, Ян! – сказал я. – Идите, пора... Для вас все готово...

– Сто против одного, что мне не придется этим воспользоваться... – ответил он, думая о чем-то. – Это была бы страшная редкость!

– Всякое бывает...

– Посмотрим...

Он встал, осторожно поднял один пакет и зашагал крупными решительными шагами в ту сторону, где сверкали золотые маковки монастыря. Я тоже поднялся, вышел с бульвара на тротуар улицы и, случайно оглянувшись, увидел пару неотвязных улиток, озлобленных на вселенную. Они медленно трусили за мной на некотором расстоянии. Ян, следовательно, ушел «чистый», и этого было достаточно, чтобы я развеселился. Затем мне пришло в голову, что некто, вероятно, очень желал бы, чтобы мой чернослив, захваченный Яном, оказался действительно черносливом...

Но чудес не бывает. И тяжела рука гнева...

II

Полный, блестящий, бутафорский месяц поднялся на горизонте и посеребрил темную рябь воды. Неподвижная громада лесного берега бросила отражение, черное, как смола, в глубину пучины, и лодка медленно скользила в его тени, плавно дергаясь вперед от усилий тонких, гнущихся весел.

²¹ Культ Венеры и Астарты – Венера у древних римлян, Астарта у древних сирийцев – богини любви. Здесь – преклонение перед чувственной любовью.

Я греб, Ян сидел у руля, лицом к берегу и медленно, задумчиво мигал, слушая песню. Сутуловатый и неподвижный, он, казалось, прирос к сиденью, тихо двигая руль левой рукой. Пели Евгения и брат ее Кирилл, долговязый, безусый юноша с круглой, остриженной головой и добродушно саркастическими глазами. Песня-жалоба одиноко и торжественно плыла в речной тишине, и эхо ее умирало в уступах глинистого берега, скрытых мраком. В такт песне двигались и стучали весла в уключинах, отбрасывая назад тяжелую, булькающую воду. Девушка обвила косу вокруг шеи, и от темных волос еще резче выделялась белизна ее небольшого, тонкого лица. Глаза ее были задумчивы и печальны, как у всех, отмеченных печатью темного, неизвестного будущего. Свободно, без вибрации, голос ее звенел, рассекая густой, медный бас Кирилла. Простые, трогательные слова песни волновали и не жили:

Меж высоких хлебов затерялось
Небогатое наше село;
Горе горькое по свету шлялось
И на нас невзначай набрело.
Ох, беда приключилась страшная,
Мы такой не знавали вовек:
Как у нас, голова бесшабашная,
Застрелился чужой человек...²²

Река застыла, слушая красивую, грустную и страшную песню о жизни без света и силы. И сами они, певшие, казались не теми юношей и девушкой, какими я знал их, а совсем другими, особенными. И редкие тревожные ноты звучали в сердце в ответ на музыку голосов.

Девушка закашлялась и оборвала, кутаясь в темный пуховый платок. В полусвете молчаливо застывшей ночи она казалась воздушной и легкой. Еще секунду-другую дрожали одинокие басовые ноты и, стихнув, отлетели в пространство. Песня кончилась, и стало грустно, и было жаль молодых, горячих звуков, полных трепетной поэтической думы. И исчезло очарование. С реки потянуло холодом и сыростью. Уключины мерно скрипели и звякали, и так же мерно вторил им плеск подгребаемой воды.

– Пора ехать домой, господа почтенные, – сонно заявила Евгения, жалобно морщась и зябко пожимая плечами. – Я озябла. И вот вы увидите, что простужусь. Ян, поворачивайте!..

– А в самом деле?.. – подхватил Кирилл. – Я уж тоже напичкался поэзией... от сих и до сих. Дайте-ка я погребу, а вы отдохайте...

Я передал ему весла, и он, вытянув длинные ноги, быстро подался вперед и сильно повел руками в противоположные стороны. Вода забурлила под килем, лодка остановилась и, слегка колыхаясь, медленно повернула влево. Горный, кряжистый берег отступил назад и скрылся за нашей спиной. Прямо в лицо глянула холодная, мгlistая ширь водяной равнины, и лодка направилась к городскому, усеянному точками огней, берегу.

Я взглянул на Яна. Он сидел, сторбившись, наложив на румпель неподвижную руку. Тихий ветер, налетая сзади, слегка теребил его волосы. Утомленные и дремотные, все молчали. Ян начал свистать мазурку, притопывая каблуком. Девушка зажала уши.

– Ой, не свистите, ради бога! Терпеть не могу, кто свистит... На нервы действует.

Ян досадливо мотнул головой.

– Что же можно? – спросил он, глядя в сторону.

– Все, что хотите, хоть купайтесь. Только свистать не смейте... Вот лучше расскажите нам что-нибудь!

²² Стихотворение Н. А. Некрасова «Похороны», ставшее народной песней. Цитировано А. С. Грином неточно.

– Что рассказывать! – неохотно уронил Ян. – Про других – не умею, про себя – не хочется. Да и нечего... Все жевано и пережевано...

– Отчего это стало вдруг всем скучно? – недовольно протянула девушка, оглядывая нас. – Какие же вы революционеры? Сидят и киснут, и нос на квинту... Возобновляйте ваш дар слова... ну!..

Она нетерпеливо топнула ногой, отчего лодка закачалась и приостановилась.

– Не балуй, Женька! – сказал Кирилл. – Спать захотела, – капризничаешь!

Глаза его с отеческой нежностью остановились на ее лице.

Опять наступило молчание, и снова уснул воздух, встревоженный звуками голосов. Нелепые и смешные мысли сверкали и гасли без всякого усилия, как будто рожденные бесшумным бегом ночи. Хотелось стать рыбою и скользить без дум и желаний в таинственной, холодной глубине или плыть без конца в лодке к морю и дальше, без конца, без цели, без усилий, слушая тишину...

Вдруг вопрос, странно-знакомый и чуждый, прогнал дремотное очарование ночи. И цель его была мне совершенно неизвестна. Возможно, что Яну просто захотелось поговорить.

Он спросил совершенно спокойно и просто:

– Кирилл! Что вы думаете о терроре?

– О терроре-е? – удивился Кирилл. – Да то же, надеюсь, что и вы. Программа у нас общая...

Ян ничего не сказал на это. Кирилл подождал с минуту и затем спросил:

– А вы почему об этом заговорили?

Ян ответил не сразу.

– Потому, – сказал он наконец, как бы в раздумье растягивая слова, – что террор – ужас... А ужаса нет. Значит, и террора нет... А есть...

– Самый настоящий террор и есть! – насторожившись, задорно ответил Кирилл. – Конечно, в пределах возможного... А что же, по-вашему?

– Да так, пустяки... Спорт. Паники я не вижу... Где она? Сумейте нагнать панику на врагов. Это – все! Ужас – все!..

Кирилл насмешливо потянул носом.

– Надоело все это, знаете ли... – сказал он. – Даже и говорить не хочется. Все это уж взвешено тысячу раз... А спорить ради удовольствия – я не мастер. Да и к чему?

– Вы, Ян, страшно однобоки! – важно заметила девушка. – Вам бы в восьмидесятых годах жить... А пропаганда? Организация?..

Ян снисходительно улыбнулся углами губ.

– Слыхали. А знаете ли вы, что главное в революции? Ненависть! И если ее нет, то... и ничего нет. Если б каждый мог ненавидеть!.. Сама земля затрепетала бы от страха.

– Да он Марат известный! – захохотал Кирилл. – В ***ске его так и звали: «Маленький Марат». Ему все крови! Больше крови! Много крови... Кр-рови, Яго!.. Тигра лютая!

Каменное лицо Яна осталось совершенно равнодушным. Но через мгновение он живо повернулся всем корпусом и воскликнул с такой страстью, что даже я невольно насторожился, почуввав новые струны в этом, хорошо мне знакомом, сердце.

– Да! пусть ужас вперит в них слепые, белые глаза!.. Я жестокость отрицаю... Но истребить, уничтожить врагов – необходимо! С корнем, навсегда вырвать их! Вспомните уроки истории... Совсем, до одного, навсегда, без остатка, без претендентов! Чтобы ни одна капля враждебной крови не стучала в жилах народа. Вот что – революция! А не печатанье бумажек. Чтобы ни один уличный фонарь не остался без украшения!..

Это было сказано с такой гордостью и сознанием правды, что мы не сразу нашли, что сказать. Да и не хотелось. Мы думали иначе. А он думал иначе, чем мы. Это было просто и не требовало споров.

Евгения подняла брови и долгим, всматривающимся взглядом посмотрела на Яна.

– Вы какой-то Тамерлан в миниатюре, господь вас ведает... А ведь, знаете, вы на меня даже уныние нагнали... Такие словеса может диктовать только полное отчаяние... А вы это серьезно?

– Да.

Лицо Яна еще раз вспыхнуло острой мукой и потухло, окаменев в задумчивости. Только черные глаза беспокойно блеснули в орбитах. Я попытался сгладить впечатление.

– Я вас вполне понимаю, Ян... – сказал я. – У вас слишком накопело на душе!..

Он посмотрел на меня и ничего не ответил. В лице его, как мне показалось, мелькнула тень сожаления о своей выходке, нарушившей спокойный, красивый отдых прогулки.

– А помните, Ян, – перешла девушка в другой тон, – как вы приезжали сюда год тому назад? Вы были такой... как дитя. И страшно восставали против всякой полемики, а также и... против террора, как системы?

– А помните, Евгения Александровна, – в тон ей ответил Ян, улыбнувшись, – как двадцать лет тому назад вы лежали в кровати у мамы? Одной рукой вы засовывали свою голенькую, розовую ножку в ротик, а другой держали папашу за усы? И восставали против пеленок и манной каши...

Девушка покраснела и задумчиво рассмеялась. Кирилл громко расхохотался, очевидно, живо представив себе картину, нарисованную Яном.

– А ведь правда, Женька... – заговорил он. – Как подумаешь, что мы когда-то бегали без штанов... Даже странно. Да, в горниле жизни куется человек! – патетически добавил он. И вдруг заорал во все горло:

Пльви-и мой чо-о-олн!!.

На ближайших пристанях всполошились собаки и беспомощно залаяли сонными, обиженными голосами.

– С ума ты сошел, Кирька!.. – прикрикнула, смеясь, девушка. – Тоже, – взрослый считаешься!..

Кирилл внезапно впал в угрюмость и заработал сильнее веслами. Ян круто поворотил руль, и лодка, скользя под толстыми якорными цепями барок, уткнулась в берег, освещенный редкими огнями ночных фонарей.

Заспанный парень-лодочник принял нашу лодку, и мы поднялись на берег к городскому саду. Всем смертельно хотелось спать. Девушка подошла к Яну.

– Так вы, значит, завтра едете?.. – спросила она, широко раскрывая полусонные глаза. – Скоро! Что же вы это так?

– Надобность явилась... И так как я вас больше не увижу, то позвольте пожелать вам всего лучшего!..

– Вот пустяки! Мы еще увидимся с вами, Ян. Я этого желаю... Слышите?

– Слышать-то слышу... Ну, до свидания, идите бай-бай...

– До свидания.

Она подала ему руку, и он задержал ее на секунду в своей тонкой, смуглой руке. Девушка молча посмотрела на него и что-то соображающее мелькнуло в ее мягких чертах. Я тоже пожал Яну руку, прощаясь с ним, и – сто против одного – навсегда. Он крепко, до боли впился в мою сильными, жилистыми пальцами. Они были холодны и не дрожали. Кирилл поцеловался с ним и долго, крепко тискал его руки в своих. Глаза его из насмешливых и пытающих вдруг сделались влажными и добрыми.

– Ну, дорогой Ян, прощайте, прощайте! Не забывайте нас! Ну, всего хорошего, идите!.. Вот проклятая жизнь – нет даже утешения в квартире попрощаться! Ну, прощайте!..

И мы разошлись в разные стороны.

III

Я опустил плотные, парусинные шторы и зажег лампу. Мне не ходилось, не сиделось и не стоялось. Нетерпеливый, ноющий зуд сжигал тело, и виски ломило от напряженного ожидания. Ни раньше, ни после, – никогда мне не случалось так волноваться, как в этот день.

Лампа, одетая в махровый розовый абажур, уютно озаряла центр комнаты, оставляя углы в тени. Я ходил взад и вперед, сдерживая нервную, судорожную зевоту, и мне казалось, что время остановилось и не двинется вперед больше ни на иоту. И в такт моим шагам прыгал взад и вперед часовой маятник, равнодушно и бегло постукивая, как человек, притопывающий ногой.

Я развернул газету и побежал глазами по черным рельсам строк, но в их глубине замелькали освещенные и шумные городские улицы и в них – фигура Яна. Он шел тихо, осторожно останавливаясь и высматривая.

Тогда я лег на кровать и закрыл глаза. Розоватый свет лампы пронизывал веки, одевая глаза светлой тьмой. Огненные точки и узоры ползли в ней, превращаясь в буквы, цифры, фигуры зверей Апокалипсиса.²³

Вечер тянулся, как задерганная ломовая кляча. Каждую секунду, короткую и длинную в своей ужасной определенности, я чувствовал в полном объеме, всем аппаратом сознания – себя, лежащего ничком и ждущего, до боли в черепе, до звона в ушах. Я лежал, боясь пошевелиться, вытянуться, чтобы случайным шумом или шорохом не заглушить звуки прихода Яна. Я ждал его, хотел увидеть снова и уже заранее торжествовал при мысли, что он может не прийти... Ожидание победы боролось где-то далеко, внутри, в тайниках сознания с тяжестью большой, бьющей тоски.

Она росла и крепла, и тяжелые, кровавые волны стучали в сердце, тесня дыхание. Вверху, над моей головой, потолок содрогался от топота ног и неслись глухие, полузадушенные звуки роля, наигрывающие кек-уок.²⁴ Это упражнялось по вечерам зеленое потомство плодovitой офицерской семьи. На секунду внимание остановилось, прикованное стуком и музыкой. Возня наверху усиливалась. Белая пыль штукатурки, отделяясь от потолка, кружилась в воздухе. Отяжелевший мозг торопливо хватался за обрывки аккордов. Старинные кресла, обитые коричневым штофом, хвастливо упирались вычурными, изогнутыми ручками в круглые сиденья, как спесивые купцы, довольные и глупые. Пузатый ореховый комод стоял в раздумьи. Письменный стол опустился на четвереньки, выпятив широкую, плоскую спину, уставленную фарфором и бронзой. Лица людей, изображенных на картинах, окаменели, прислушиваясь к светлой, гнетущей тишине ожидания. И казалось, что все вокруг притаилось и хитро, молча ожидает прихода Яна. И когда он войдет, – все оживет и бросится к нему, срываясь с углов и стен, столов, рам и окон...

И вдруг тоска упала, ушла и растаяла. Наверху бешено и глухо загудела мазурка, но топот стихал. Голова сделалась неслышной и легкой, как пустой гуттаперчевый шар. И я встал с кровати, твердо уверенный в том, что Ян идет и сейчас войдет в комнату.

IV

Едва он вошел, как я бросился ему навстречу. Ян остановился в дверях, измученный и слабый, торжественно смотря мне прямо в глаза. Одежда его была в порядке, и это обстоятель-

²³ ...буквы, цифры, фигуры зверей Апокалипсиса – фантастические обозначения в Откровении Иоанна Богослова – библейском пророчестве о конце света.

²⁴ Кек-уок – танец, модный в начале века.

ство не казалось мне странным и удивительным. Он сделал, и не только несмотря на это, а вопреки этому – уцелел. Все остальное было пустяки. Раз совершилось чудо, – одежда имела право остаться чистой. Я держал его за руки, выше локтей, и изо всей силы тряс их, захлебываясь словами. Они кипели в гортани, теснясь и отталкивая друг друга.

Ян отстранил меня легко, как ребенка, плавным движением руки и, подойдя к столу, сел. Нельзя сказать, чтобы он был очень бледен. Только волосы, прилипшие на лбу под фуражкой, и тонкая жила, вздрагивающая на шее, выдавали его усталость и возбуждение. Весь он казался легким, тонким и маленьким в своем новеньком, с иголки, офицерском мундире.

Первое, что я увидел, – это его улыбку, сокрушенную и мягкую. Он сидел боком к столу, вытянув ноги и положив руки на колени, ладонями вниз. Мы были одни, и никто не мог услышать нашего разговора. Но я склонился к нему и сказал тихим вздрагивающим шепотом, как если бы нас окружала целая сеть глаз и ушей:

– Вот как?.. Славно...

Улыбка исчезла с его лица. Он задвинулся на стуле и так же тихо ответил:

– Сегодня ничего не было. Значит, придется завтра...

Чудо исчезло, осталось недоумение. Я сразу устал, как будто только что выпустил из рук тяжелый камень.

И между нами произошел следующий, тихий и быстрый разговор:

– Он не был, Ян?

– Был.

– Он ехал, да?

– В карете. Я видел его.

– А потом?

– Он уехал.

– Почему?

– Я ушел.

– Почему же, почему, Ян? Ян!..

Он зажмурился, крепко стиснул зубы и тихо, отдельно роняя слова, ответил:

– Он был не один... Там сидела женщина и еще кто-то... Не то мальчик, не то девочка...

Длинные локоны и большие капризные глазки... Ну...

Он умолк и открыл глаза. Они щурились от яркого света лампы. Ян прикрыл их рукой и сказал резким, равнодушным голосом:

– Нельзя ли послать за пивом? У меня что-то вроде озноба...

Я молчал, и странная, жуткая, полная мысли тишина сковала дыхание. Ян, видимо, совестился поднять глаза. Одна его рука смущенно и неловко шарилась в кармане, отыскивая мелочь, другая лежала на столе, и пальцы ее заметно дрожали.

Оглушительный, потрясающий звон разбил вдребезги тишину. Это ударил тихий, мелодичный бой настенных часов...

Когда на следующий день вылетели сотни оконных стекол и город зашумел, как пчелиный улей, я догадался, что на этот раз – он был один...

Подземное

I

– Ну, что вы на это скажете?

Шесть пар глаз переглянулись и шесть грудей затаили вздох. Первое время все молчали. Казалось – невидимая тень близкой опасности вошла в тесную комнату с наглухо закрытыми ставнями и вперила свои неподвижные глаза в членов комитета. Ганс, продолжая рисовать карандашиком на столе, спросил, не подымая головы:

– Когда получено письмо, Валентин Осипович?

– Сегодня утром. Было оно задержано в пути или нет – я не знаю... Факт тот, что оно пришло к нам на двое суток позже его...

– Вот так фунт изюма! – произнес Давид и рассмеялся своей детской улыбкой, обнажившей ровные, острые зубы.

– Товарищ, прочитайте еще раз! – сказал Ганс. – Свежо предание, а...

Он поднял свои светлые, серые глаза и опустил их, продолжая рисовать кораблики.

Пожилой сутуловатый господин с проседью в бороде и усталыми, нервными глазами, окинул всех продолжительным, озабоченным взглядом и, взяв листик бумаги, лежавший перед ним, начал читать ровным, грудным голосом:

«К вам едет провокатор. Должен прибыть 28-го. Приметы: молодой, черные усы, карие глаза, выдает себя за студента; левый глаз немного косит. Примите его, как следует. Районный комитет, 23-е июля».

– Оттуда письмо идет два дня, – продолжал Валентин Осипович, кончив чтение. – Одно из двух: или его задержали, или бросили слишком поздно. Я, как заведующий конспиративной частью, – улыбнулся он, – поступил, быть может, слишком конспиративно, уничтожив конверт, так что подтвердить второе предположение теперь невозможно. Но оно всего вероятнее, ибо полиция не отсылает адресатам такие документы, раз они попадутся ей в руки...

– Левый глаз косит, – сказал про себя Валерьян, юноша могучего телосложения, с целой копной черных волос, из-под которой сверкали маленькие глаза-буравчики. – Да... дождались!..

Опять наступило молчание. Дверь из соседней комнаты раскрылась, и на пороге появилась девушка. Она стояла, держась одной рукой за косяк двери, другой – за свою собственную косу, перекинутую через плечо. Лицо ее было уверенно и красиво.

– Ну?! – сказала она.

Но все молчали. Валерьян тряс гривой, гневно побряхтывая; Давид вертел большими пальцами рук, поджав нижнюю губу. Ганс рисовал и ломал карандаш.

– Ну? – повторила девушка, и глаза ее рассердились.

– Мы придем пить чай после, Нина, – сказал Ганс, рисуя шхуну с распущенными парусами. – Нам очень жарко...

Никто не улыбнулся на шутку. Девушка исчезла, нетерпеливо хлопнув дверью.

– Теперь будем думать! – сказал Давид. – Что ж? Надо решать как-нибудь... Грязное дело получается...

– К порядку, господа! Валентин Осипович, возьмите на себя председательство!.. – раздраженно крикнул Сергей, пятый член комитета, высокий, с впалой, чахоточной грудью.

– Прекрасно!

Валентин Осипович выпрямился на стуле и провел рукой по волосам, еще густым и волнистым.

– Итак, – сказал он, – пусть Ганс расскажет нам про него...

– Я расскажу то, что уже рассказывал...

Сказав это, Ганс бросил наконец рисовать и поднял свою круглую, стриженую голову с твердыми, крупными чертами лица. Холодные, серые глаза его были серьезны, а рот улыбался.

– Третьего дня... я сплю. Приходят и говорят: «Вас спрашивают»... Ну... встал... Входит молодой человек, черноусый, карие глаза... левый глаз заметно косит. Сказал явку, честь честью... «Приехал, – говорит, – работать, а по специальности – агитатор и дискуссиянер...» Я ему сказал сперва, что денег в комитете мало, но так как люди у нас нужны, а денег все равно добудем же когда-нибудь, то он и решил остаться... Вот.

Сказав это, Ганс взял карандаш и приделал флаг к мачте, а на флаге написал: «П.С.Р.»²⁵

– Откуда он приехал? – отрывисто буркнул Валерьян.

– Из Самары. Знает тамошнюю публику. Физиономия внушает доверие... Обращение – ровное, голос уверенный, спокойный... Говорит, что бывший студент...

– Да, нет сомнения – это он... – задумчиво произнес Валентин Осипович.

– Ну, товарищи, ваше мнение?

– Я, Валентин Осипыч, – покраснел Давид, – думаю, что... это может выйти ошибка... По всему видно, что он – бывалый парень... Вчера, например, он, еще не отдохнув, как расщипал эсдеков²⁶ у Симона на заводе! В лоск прямо положил!.. А это значит, что он не младенец...

– А кто давно работает... – тот не может быть провокатором? Милейший юноша, – улыбнулся Валентин Осипович, – вы еще плохо знаете людей... Я за свою жизнь знал таких, что работали годами в партии, а потом делались шпионами... Эволюция эта проклятая, знаете ли, незаметно происходит... Устанет человек, озлобится, – вот вам и готово субъективное отношение... А тут один шаг к дальнейшему... А этот – Костя, кажется, его зовут – еще молод, а на мягком воске молодости сплошь и рядом можно написать что угодно...

У Ганса опять сломался карандаш, и он с ожесточением принялся чинить его, стругая так, что куски дерева летели во все стороны. Опять наступило молчание, и каждый думал о том, что сказал старый, опытный революционер.

– Ну, вот что, товарищи, – продолжал Валентин Осипович. – Я хотя и старше вас, и прислан с директивами от ЦК, и знаю весь объем опасности, грозящей делу революции в крае, но всецело предоставляю решение этого дела вам, во-первых, – потому, что оно просто и ясно, а во-вторых, – потому, что у меня много более важных дел... А вы уж сами справьтесь.

– Да, – промолвил Ганс, – придется того...

Он не договорил, но каждый понял его жест и мысль...

– Это надо сделать скорее, – невозмутимо продолжал Ганс, отделявая корму большого океанского парохода. – Вы меня простите, товарищи, но чем скорее переговорить об этом неприятном деле, тем лучше... Кто же возьмет на себя руководство этим... предприятием? – спросил он, оглядывая всех. Рот его улыбался.

– Ганс прав, – сказал Валентин Осипович. – Сделав так, мы избавим не одних себя, а все организации от риска провала.

– Ну, кто же? – спросил Ганс еще раз и, откинувшись на спинку стула, склонил голову набок, любуясь рисунком. Затем, подождав немного, добавил два-три штриха и сказал:

– Я возьму. Завтра пойду к Еремею. Доверяете, или... может быть – кто-нибудь другой хочет?

– Нет уж, спасибо, – сморщился Давид, расширив свои голубые глаза. – Валяйте вы.

²⁵ П. С. Р. – партия социалистов-революционеров, сокращенно эсеров.

²⁶ Эсдеки (сокращ.) – социал-демократы, члены РСДРП.

– А вы не хотите, Валерьян? – улыбнулся Ганс.

– Ах, оставьте, пожалуйста! – болезненно крикнул Сергей. – Нельзя из этого делать шуток!..

– Ну, хорошо! Провокатора съем! – совсем уже рассмеялся Ганс. Валентин Осипович тоже улыбнулся.

Снова вошла Нина, и все поднялись, не дожидаясь ее недовольного «ну!». Зазвенели чайные ложки, и Валентин Осипович стал рассказывать о жизни в Якутске и сибирских чалдонах. Рассказывал он очень интересно, с увлечением, и все смеялись, а у Ганса улыбался рот.

II

На улице было темно и тихо. Ганс провожал Валентина Осиповича домой. Они шли медленно; молодой человек сердито стучал тросточкой о деревянные тумбы, спутник его курил папиросу. Вечер был теплый и нежный, и в душу ползла легкая дремота очарования, мешая разговаривать и вызывая в голове неясные, сладкие воспоминания, полные неопределенной тоски о будущем. Юноша совсем размяк и молчал. Валентин Осипович изредка делал кое-какие замечания, касающиеся завтрашней сходимки у Синего Брода, где еще раз должны были померяться силами две партии. Он негодовал и сердился.

– Совершенно я не понимаю и не признаю этих дебатов... Смешные эти петушинные бои... Честное слово...

– Нельзя, Валентин Осипович, – возразил наконец Ганс. – У нас всего восемь кружков, а у социал-демократов 30. И что всего замечательнее: у нас масса литературы крестьянской, рабочей – и все же как-то дело подвигается туговато... А они жарят без литературы, и у них кружки растут, как грибы.

– Ничего удивительного... В рабочих говорит классовый инстинкт... Зато мы монополизировали крестьянство...

– И потом – у эсдеков здесь есть типография, а у нас все еще процветает кустарничество...

– Ну, это, знаете, не важно, по-моему... Можно и на гектографе²⁷ сделать хорошо...

– Можно, да здешние уврие²⁸ – весьма балованный народ: подавай им непременно печатные, а гектограф, мимеограф и т. п. они и знать не хотят...

– Очень скверно. Со временем можно будет наладить и типографию... А теперь надо устроить с провокатором. Вы как думаете?

– О! Я сам не хочу здесь мараться... Просто передам в дружину, а там пусть как хотят... Ну, окажу, конечно, косвенное содействие.

– Смотрите, будьте осторожнее. Вы – ценный человек для революции.

– Помилуйте! Вы меня конфузите!

– Ну, будет скромничать... Нет, я говорю не комплимент. В вас есть незаменимое качество: энтузиазм... А это не так часто встречается... Наша интеллигенция – больше от головы революционеры, а не от сердца.

Оба замолчали и через минуту остановились у подъезда большой каменной гостиницы, где жил Валентин Осипович. Ганс пожал ему руку и быстро пошел обратно. Дойдя до угла, он крикнул извозчика и велел ему ехать в нижнюю часть города к реке.

Извозчик ехал скоро, и от быстрой езды по пустынным, затихшим улицам, и от сознания романтичности положения Ганс испытывал необыкновенно сильный прилив энергии и возбуж-

²⁷ Гектограф, мимеограф – копировальные аппараты, при помощи которых размножали рукописный или машинописный текст.

²⁸ Уврие (франц. *ouvrier*) – рабочий.

дения, когда мысли горят ровно и сильно и все кажется возможным и достижимым. Это случилось с ним каждый раз, когда приходилось рисковать в чем-нибудь или обдумывать детали сложного предприятия. И, чем ближе подъезжал он к цели своего путешествия, тем яснее становилось для него все, задуманное им. Улыбаясь своей обычно неопределенной улыбкой, Ганс слез с извозчика у ворот небольшого деревянного домика и подошел к окну, освещенному и раскрытому настежь. Белая занавеска колыхалась в нем; Ганс отдернул ее и тихо сказал:

– Здравствуйте, Костя.

К окну придвинулся черный силуэт хозяина квартиры. Костя читал и очень обрадовался приходу Ганса.

– А, Ганс! – сказал он весело. – Ну, входите!..

– Скажите сперва – сколько времени?

Костя вынул карманные часы и посмотрел на них, слегка косясь левым глазом.

– Одиннадцать. А вы торопитесь куда? – спросил он.

– Поторапливаюсь, товарищ. Ну, что – нашли квартиру?

– Нашел, кажется, годится... Впрочем, можно будет переменить... Она помещается на одной лестнице с редакцией «Голоса», так что вроде публичного места. Приходит и уходит народ, а куда, в какую квартиру – кто знает?

– Правильно! – согласился Ганс.

Он облокотился на подоконник и положил голову на руки.

– Да идите вы в комнату, странный субъект! – вскричал Костя. – На улице шляется масса шпионов...

– Нет, спасибо! – вздохнул Ганс. – А вот что: у вас револьвер есть?

– Есть, браунинг.

– У меня тоже есть и тоже браунинг.

– Поздравляю вас!

– Премного благодарствую... Соскучился я, пришел к вам посидеть... Был сегодня у Нины, да она меня гонять стала; боится, что квартиру замараю... А сейчас от Валентина Осиныча... Симпатичный человек.

– Да-а!.. Будем ли мы с вами такими в его годы? – задумчиво произнес Костя, и его левый глаз как-то жалобно устремился в сторону, в то время, как правый серьезно и грустно смотрел на темную фигуру Ганса. – Каторга, ссылка, десяток тюрем – и все как с гуся вода... По-прежнему молод, верит, борется...

Рот Ганса перестал улыбаться, и он спросил вдруг, устремив глаза на потолок:

– Костя! Вам снились сегодня дурные сны?

– Никаких! – рассмеялся он. – Да что это вы сегодня – какой-то лунатик? Уж не собрались ли вы?..

– А мне снились, – упрямо перебил Ганс.

– Ну что же из этого? Я, ей-богу, вас не понимаю! – Костя пожал плечами. – Идите-ка вы лучше спать. А то нервы расстраиваете...

– Вот что, Костя! – сказал Ганс. – Сейчас я иду решать дело, от удачного исхода которого зависит все существование нашего комитета... Я говорю серьезно, – добавил он, заметив недоверчивую улыбку в глазах товарища.

Лицо Кости сразу стало серьезным, и глаз перестал косить. Он заправил один ус в рот и сказал:

– Та-ак-с...

– И мне нужна... или, может быть, понадобится ваша помощь... Пойдемте со мной? Это будет не долго, а? У вас есть револьвер к тому же...

– Хорошо-о... – протянул Костя в некотором раздумьи. – А... какое дело?

– Уверяю вас – я не могу вам сказать сейчас; во-первых, потому, что мало времени, во-вторых, потому, что у меня уже все решено в голове, и вы можете понадобиться только в крайнюю минуту, на случай опасности. . .

Костя заторопился, надевая верхнюю блузу, шляпу и закладывая обойму в револьвер. Ганс вынул свой браунинг и пересчитал патроны, держа руки в глубине окна.

III

Река медленно и сонно плескалась у берегов, невидимая в темноте. На пароводных пристанях тускло горели красные фонари, дрожащим, призрачным светом выделяя из мрака полуразвалившиеся штабели дров, «бунты»²⁹ товара, окутанные брезентами, и лодки всевозможных размеров, уткнувшие в песок свои носы. В отдалении звонкой, шелкающей трелью заливалась трещотка ночного сторожа.

Ганс и Костя спустились к воде у конторки «Кавказа и Меркурия».³⁰ Тут лежали толстые бревна, очевидно, когда-то употреблявшиеся для настилки сходней. Влево высилась черная масса пристани и по борту ее ходил человек с фонарем, осматривая что-то. Дремлющий ветер донес с середины реки пьяные звуки гармоники и подгулявших голосов.

Они остановились у бревен, и Ганс сказал:

– Костя, вы пройдите, пожалуйста, и спрячьтесь где-нибудь за дровами. . . Если вы услышите, что я крикну: «сюда!» – спешите скорее. Если же нет – не показывайтесь. . . Жаль только, что вы не услышите нашего разговора. . .

– Один вопрос, товарищ: это дело не касается лично вас?

– Меня? – усмехнулся Ганс. – Да нет же. . . Оно касается всех. . . и вас в том числе.

Костя еще постоял немного в раздумьи. Ему было слегка неприятно, что он играет пассивную и подчиненную роль, и самолюбие его, эта ахиллесова пята революционеров, было сильно уколото. Но он не подал вида, отчасти потому, что был еще новым лицом в городе и, следовательно, – пока зависимым; отчасти же потому, что Ганс сильно заинтриговал его, и ему хотелось узнать суть дела хотя бы путем участия в нем. Кроме того, Костя был не трус, а опасность притягивает. В силу всех этих соображений он еще раз соображающе выпятил губы и скрылся в горах березовых дров и колесных ободьев.

Ганс сел на бревно и перестал улыбаться. Фигура его, прилично одетая в черное пальто и такой же картуз, почти совершенно сливалась с погруженным в темноту берегом. Вытянув ноги в лакированных штиблетах, он вдруг вспомнил что-то, опустил руку в карман и, вынув белый носовой платок, обернул им ладонь левой руки. Еще одно соображение мелькнуло в нем. Он встал и подошел к сколоченной из старого теса будке старика лодочника, приютившейся возле громадных сходней пристани, и крикнул:

– Эй, дедка!

Разбуженный «дедка», седой, сутуловатый, но еще крепкий и жилистый старик, вылез из будки и устремил на юношу свои красные, подслеповатые глазки. «Дедку» – в его вечном ватном картузе до ушей и огромных валенках знала вся городская молодежь, и он ее, так как сходки и вечеринки часто устраивались где-нибудь на островах, а у старого лодочника была превосходная, быстрая и легкая «посуда».

– Лодочку, барин? – закричал «дедка».

– Четверку. . . ту – востроносую. . . Дорого не бери, смотри. . .

– Цена известная. . . Лодки-то, почитай, все разобрали. . . Ай, нет, есть никак. . . Денежки пожалуйте.

²⁹ Бунт – здесь: груда товара.

³⁰ «Кавказ и Меркурий» – название русского пароводного общества конца XIX – начала XX века.

Ганс заплатил деньги, взял весла и спустился к воде. Быстро отперев цепь и вскочив в лодку, закачавшуюся под ногами, он вставил весла в уключины и в два взмаха очутился у бревна, на котором сидел. Выскочив на берег, он вытащил лодку до половины на песок и снова уселся на бревне.

Ветер, поднявшийся было с востока, стих, и воздух застыл в легкой прохладе речной сырости. Сверху, из темных сбившихся облаков, блеснул тусклый, месячный свет. С горы, усеянной темными купами деревьев, доносились звуки голосов, сонное тьяканье собак, бряканье калиток; светились красные четырехугольники окон.

Сердце билось у Ганса сильнее обыкновенного. Он перевернул браунинг, лежавший в кармане, рукояткой вверх и стал ждать, поглядывая в сторону спуска.

Ждать пришлось недолго. Прошло пять-шесть минут, и на дороге, пролегавшей вдоль берега, показалось черное пятно человека, идущего медленным, легким шагом. Человек подошел к сходне пристани, остановился, помахивая тросточкой, и начал осторожно спускаться к воде. Ганс не видел лица идущего, но чувствовал пытливый и подозрительный взгляд, направленный в сторону бревна. Он положил руку, обернутую платком, на левое колено и тихонько крикнул.

Незнакомец спустился к самой воде и стал шагах в двух от революционера, смотря прямо перед собой в темную даль реки. Теперь Ганс мог его разглядеть. Это был невысокий, худощавый молодой человек, с скуластым, крепким лицом и бородкой клинышком, одетый в серое пальто и черную фетровую шляпу. Тросточка его описывала за спиной беспокойные зигзаги. Наконец он скосил глаза в сторону Ганса, ослабилась, увидя белый платок, и, выжидательно смотря на юношу, сказал:

– Теплень-то, а? Благодать!.. Барсов.

Ганс начинал испытывать раздражение. Он выпрямился и сказал:

– Ну, садитесь, раз пришли! Мне, знаете, некогда!

Незнакомец вдруг оживился и просиял. Быстро засуетившись, он прислонил тросточку к бревну и, запахнув полы пальто, уселся рядом с Гансом, заговорив радостным, тихим голосом:

– Вот как хорошо, что вы пришли-с! Ей-богу! А мы-то уж думали, думали! Мы-то гадали, гадали! Уж прямо-таки решили, что вы, не дай бог, захворали или что!.. Ей-богу! Господин ротмистр³¹ даже расположения духа лишились, право! Сердитые... ходят взад и вперед и все говорят: – «Уж эти мне петербургские! Осторожности на целковый, а дела на грош!» Да-с... Вы уж извините, что я так говорю...

– Да говорите, что же мне ротмистр! – прервал его Ганс. – Только почему это вы так беспокоились? Ведь мы условились именно сегодня?

– Так-то так, да все же-с... Думали: господин Высоцкий сами заглянут, улучат минутку... А вы вот, видите ли, – осторожны. Что же? По совести, и я бы так делал-с... В нашем деле нельзя иначе, нельзя-с... Опасное дело по нынешним временам!..

– Да, неприятное, – вздохнул Ганс. – Можно живота лишиться...

– И-и! Сколько хотите!.. Я вот, знаете ли, на днях: иду за одним эсэриком... да вы его знать должны, как же-с: еврейчик, часовщик, Трейгер фамилия...

– Как же, знаю! Ну, этот не опасен – мальчишка... Другие есть, настоящие...

– Конечно, – поспешил согласиться незнакомец. – Ах, простите, – привстал он, – позвольте представиться: Николай Иванович Хвостов-с. Я недавно служу, а все же, конечно, приятно познакомиться. Да-с. Так вот, слежу я, извольте видеть... А он, жидюга, завернул за угол да оттуда обратно и выскакивает... А я разлетелся, да и сшибись с ним... Ка-ак он замахнется на меня набалдашником!.. Я уж тут отбежал... И грозит еще, представьте. «Не попадайся!» – кричит.

³¹ Ротмистр (устар.) – чин в кавалерии, равный пехотному капитану. Здесь жандармский чин.

– Скоро мы им отшибем спеси, – сказал Ганс.

– Да-а... Больно ведь уж силу взяли, куда тебе! Так и плодятся, как саранча... Одних этих партий проклятых не пересчитаешь... да-с. Мы тогда же, как вашу телеграмму получили – подумали: ну, возьмутся умные люди, закрутят овечке хвост!..

– Да, я потому и послал телеграмму, что так было удобнее, – сказал наудачу Ганс.

Но Николай Иванович, очевидно, обрадовался возможности поговорить. Он подсел еще ближе и, оглядываясь, таинственно зашептал:

– Да-с: мы как ее расшифровали, господин Высоцкий, – так и подумали: тут дело не с бухты-барухты делается... Сообщает человек свой адрес, фамилию и когда увидеться. Сразу, с налету, так сказать, орлом! Налетел, расклевал, – ищи! Дело чисто сделано! Ха-ха!..

Ганс облегченно вздохнул, и рот его улыбнулся. Теперь все становилось ясно.

– Нельзя иначе, Николай Иванович, – сказал он. – Я сам – человек общительный, люблю общество умных людей... поговорить там, в картишки... А все же, знаете, нужно себя сохранить... Что же? Приехал я аккуратно, с паролем, виды видал, думаю – живо выведу всех на чистую воду, прихлопну и – дальше... Надо себя сохранить...

– Это верно-с, верно! Что говорить! – подхватил Николай Иванович. – А то начнешь ходить в жандармское, полицию или так куда... не дай бог – заметит кто из социалистов!.. А тут уж разговор короткий...

– Знаете, – перешел Ганс в деловой тон, – я, пожалуй, сегодня же вам все передам. Делать здесь больше нечего... Останется разве какая мелюзга – на развод! – усмехнулся он.

– Да-а? – обрадовался Хвостов. – Вот молодец вы, право!.. В две недели!.. И уезжаете?

– Конечно... А скоро все это сделано потому, что я сразу вошел в комитет... Ну, – и актер я хороший...

– Да-с, да-с!.. По лицу даже заметно... Гениально, можно сказать! А я вам тут пакетец припас от полковника... Сведеньица тут и потом, знаете, кое-что насчет Екатеринослава...³² Может, там будете, так дела можете сделать...

У Ганса сделался нестерпимый зуд в ногах от этих слов. Всеми силами сдерживая охватившее его волнение, он немного помолчал и сказал небрежно:

– Ну, что ж... Давайте! Всякое лыко в строку...

Николай Иванович расстегнул пиджак и вытащил тяжелый, толстый пакет. Принимая его, Ганс испытывал ощущение стопудовой тяжести в руке, пока пакет не очутился в его кармане. Ему вдруг сделалось ужасно радостно и весело на душе. С веселым лицом он повернулся к Хвостову и, опустив руку в карман, где лежал револьвер, сказал изменившимся голосом, в упор глядя на сыщика:

– А что бы вы сказали, Николай Иванович, если бы вдруг узнали, что я... не Высоцкий, а... социалист-революционер?

– Что бы я сказал? – улыбнулся Хвостов. – Сказал бы, что вы – гениальнейший артист! Гамлет-с, можно сказать!.. Талант! Хи-хи!

Ганс рассердился.

– А что бы вы сказали, – грозно произнес он, быстро вставая и приставляя браунинг к фетровой шляпе Хвостова, – что бы вы сказали, – повторил он, и его резкое лицо вспыхнуло, – если бы я сообщил вам, что здесь восемь пуль и одной из них довольно, чтобы пробить ваш грязный мозжок? А?

Николай Иванович сидел, сложив руки на коленях, недоумевающе улыбался и вдруг побелел в темноте, как снег. Глаза его в ужасе, казалось, хотели выскочить из орбит. Он протянул руки перед собой, как бы отстраняя Ганса, и пролепетал:

– Хо-хо-роший револь-вер... У вас... ка-казенный?

³² Екатеринослав – прежнее (до 1926 г.) название Днепропетровска.

– Не валяйте дурака! – начал Ганс. – Если вы...

– Ка...раул!.. – взвизгнул Хвостов, но вместо крика из его горла вырвался какой-то сип. Ганс быстро ударил его дулом в лоб. Сыщик пошатнулся и умолк.

– Если вы, – зашипел Ганс, – скажете хоть еще одно слово – застрелю... Сюда! – громко сказал он в сторону дров.

Дрова со стуком посыпались, и Костя бледный, держа за спиной револьвер, подбежал к воде.

– Товарищ! – взволнованно сказал Ганс, – вот этот человек – шпион... Я хочу, – произнес он, быстро переводя дыхание, – сплавить его на тот берег.

– Господа! Миленькие!.. – пискливо шепнул Хвостов. – Ей-богу!.. Если я!.. Простите! Будьте такие добрые! Ради Христа! Христос не велел...

– Садитесь в лодку! – приказал Ганс, не отводя дула от сыщика. – Скорее! Я вам не сделаю ничего, увезу вас только на тот берег, чтобы вы не подняли гвалт... Костя, голубчик, обыщите его скорее...

Молодой человек торопливо выворотил карманы Николая Ивановича. Записная книжка и несколько фотографических карточек исчезли в брюках Ганса.

Хвостов стоял, дрожа всем телом. Он сразу как-то весь окис и опустился, молчал и только изредка всхлипывал. Ганс связал ему руки назад туго свернутым носовым платком и, втолкнув в лодку, схватил весла.

– Ганс! – сказал Костя, и в голосе его слышалась просьба. – Вы...

– Ничего я ему не сделаю, товарищ, – сурово ответил Ганс. – Пусть полежит с денек в лесу...

«Дедка» проснулся, вышел из шалаша и, вздыхая, посмотрел на небо. Кой-где блестели звезды, и бледные клочки начинающего светлеть неба тонули в тучах. Он зевнул и обернулся к темным фигурам, возившимся у воды. Уключины брякнули, и лодка, столкнутая Костей, заколыхалась на воде.

– Поехали, молодцы? – спросил «дедка». – Дай бог веселого пиროванья... Али вы рыбу ловить?

– Рыбу ловить, дедка! – крикнул Ганс, и Костя вздрогнул, не узнав его голоса в этом звонком, оборвавшемся выкрике. Вода зашумела под веслами, и лодка отделилась от берега, уходя в темноту. Минуты две еще было слышно, как брякали уключины в такт мерным, тяжелым всплескам. Затем все стихло.

Серый туман окутал реку, и с нее потянуло пронизывающей сыростью. Вода светлела у берегов, и стальные гладкие полосы отмелей серебрились, пронизанные черными отражениями судов, стоящих на якоре. Разноцветные точки фонарей дрожали в воде.

И вдруг в глубокой тишине уходящей ночи гулко и отчетливо прокатился выстрел, подхваченный эхом... Вверху на горе глухо залаяли разбуженные собаки... И снова все стихло. Река сонно шептала у берегов, как будто рассказывая тысячелетние были. Костя вздрогнул и опустил голову...

IV

Ганс причалил, молча снял весла и отнес их в сторожку. Затем встряхнулся, потянулся так, что затрещали суставы, и, не дожидаясь вопросов «дедки» о причинах скорого возвращения, схватил Костю под руку и быстро зашагал в гору. Выбравшись наверх, они остановились и перевели дух.

Костя поглядел на товарища. Лицо Ганса как-то посерело и осунулось, а серые, холодные глаза ушли внутрь. Он тяжело дышал. Так они стояли с минуту, глядя друг другу в глаза.

– Костя! – сказал наконец Ганс упавшим грудным голосом. – Вы знаете, кто такой... Валентин Осипович Высоцкий?

– Что за штуки, Ганс, – поморщился Костя. – Говорите прямо... если есть что.

– Петербургский провокатор! – выпалил Ганс. – Это тот самый, что провалил в прошлом году ростовских социал-демократов!..

Костя остолбенел, и крик изумления вырвался у него:

– Провока-тор! Ганс!! Не может быть!..

– А вы слушайте!.. – продолжал Ганс тихо. – И пойдемте... Тут стоять нельзя. Знаете – если бы мне три дня тому назад кто-нибудь сказал то, что я вам сейчас – я без дальних околичностей закатил бы ему пощечину... А теперь... «Всякое бывает» – сказал Бен-Акиба...³³ Все вышло случайно... То есть поистине все вышло чудесно... Дело было так: два дня тому назад прихожу я к Высоцкому... У меня было дело, надо было посылать человека за границу... Пришел, а его дома нет... Ждал, ждал... Вдруг стучит кто-то... «Войдите»... Посыльный. – «Здесь живет такой-то?» – Здесь, мол... – «Письмецо вам»... – Хорошо, – говорю... Ушел, письмо я сунул в карман, Высоцкого не дождался, про письмо забыл, прихожу домой, – тут мне почтальон приносит два письма... Но так как мне тут же надо было спешить на организационное собрание, то я их в тот же карман сунул, сел на конку и помчался... Дорогой вынимаю одно, читаю...

Ганс остановился и вытер вспотевший лоб. Товарищи шли быстрым, полным шагом... Бледный рассвет застыл над городом недвижимой, мертвой улыбкой. Было тихо и пусто.

– И тут, – продолжал Ганс, – меня как будто целой крышей по голове хватили... Там было написано вот что... оно у меня огненными буквами в мозгу засело: – «Многоуважаемый г. Высоцкий! Настоящим имею честь уведомить вас, что, согласно просьбе вашей, выраженной в телеграмме, назначить свидание для переговоров о деле не раньше двух недель со дня приезда вашего – полагаю возможным назначить таковое в субботу, 29-го сего месяца. Место и час прихода вашего будьте любезны заблаговременно сообщить письмом в Управление, с указанием какого-либо отличительного знака, по коему наш агент мог бы вас узнать. По приходе он скажет вам следующее: „Барсов“. Примите уверение в совершенном почтении, Барсов»... И вот, пока я читал, я еще думал, что эти карбонарские³⁴ приемы относятся к какому-нибудь нашему делу, мало ли что может быть... А подпись жандармского ротмистра меня прямо к земле пригвоздила... Да еще в связи с канцелярским изложением... Я ночь не спал, все думал – как быть? Потом решил взять все на свой риск и написал Барсову письмо, что все, мол, прекрасно и в двенадцать часов ночи я приду туда, где мы сейчас с вами были... Я хотел таким образом попытаться узнать кое-что... И действительно... А сегодня, то есть вчера вечером, – поправился Ганс, – у нас было очередное заседание... Высоцкий приходит и читает письмо, якобы от районного комитета; смысл письма таков, что к нам приехал провокатор и что провокатор этот – вы!..

Костя застонал и схватился за голову.

– Вот! И понимаете, – что всего ужаснее – вас здесь никто не знает!.. Приехали вы с местной явкой, а Высоцкий – с партийным паролем... А? Каково? И вчера, знаете, уж порешили вас того – убрать...

Костя вдруг опустился на ближайшую тумбу и закрыл лицо руками. Нервное потрясение было слишком велико... Он весь содрогался от сдерживаемых рыданий и скрипел зубами...

– Костя, да что с вами? Будьте хладнокровнее! Идемте скорее! До утра нужно еще созвать всех и обсудить, как быть дальше! Время дорого... Слышите?..

³³ Бен-Акиба (Акиба Бен Иосиф, I век н. э.) – еврейский ученый и политический деятель.

³⁴ Карбонарские – от карбонарии (итал. carbonaio) – угольщики. Тайное политическое общество в Италии, в начале XIX века боровшееся против владычества французов, за воссоединение Италии.

Ганс тряс товарища за плечо изо всей силы. Наконец тот встал и рассмеялся хриплым, нервным смехом, вытирая глаза.

– Видите, какая скотина! – заботливо-негодующим тоном произнес Ганс. – Он ведь переписку вел. Пари держу, что получил письмо относительно себя и хотел след запутать, а сам еще где-нибудь напакостить... Вы вот что: идите к Нине и Сергею, а я побегу к остальным... Сергею надо щекотать пятки, иначе он не встанет...

– Хорошо...

– Ну, до свиданья пока... Ой, ой, вы мне руку раздавили!

– Слушайте, Ганс!.. А... тот?

– Пришлось покончить... А соберемся, скажите – у Лизы...

В небе легли розовые краски, и стало холодно. Запели петухи.

V

– Я сам пойду! – кричал бледный Сергей, размахивая шапкой. Глаза его лихорадочно горели, и красные пятна зловеще алели на щеках. – Я, – он глухо закашлялся и схватился за грудь, – я сам... кха... кха!..

– Нет! Пусть Валерьян!.. Куда вам?! Идите спать, Сергей! – кричал Ганс. – Вы будете шуметь, разговаривать! Слышите?

– Нет! – раздражался Сергей. – Я пойду!.. Эволюция личности!.. Прохвост!..

– Сергей! Прошу вас, останьтесь!.. – решительно сказал Валерьян. – Вы мягкий человек!..

– Боже мой! Валерьян – да идите уж вы, что ли, скорее!.. Ведь не сто человек тут нужно... Вот деньги и паспорт на всякий случай... Впрочем, наверно, увидимся еще!.. Нина, где деньги?..

Девушка, плотно сжав губы, молча вынула ассигнации и подала Гансу. Тот передал их Валерьяну, который стоял, ероша обеими руками свою густую копну, и энергически тряс головой. – Ну, жарьте!..

Валерьян вышел, плотно притворив дверь и вздрагивая от утреннего холода в своей черной сатиновой блузе. Все в нем кипело и бурлило, как самовар. Юноша гневно сверкал своими черными маленькими глазками, направляясь в центр города. У подъезда гостиницы он остановился и позвонил.

Было пять часов, и солнце золотым шаром выкатилось над крышами, позолотив куполы церквей и стекла окон. Сновали редкие прохожие, громыхали пролетки извозчиков, выезжавших на промысел. Валерьяну отпер заспанный, обрюзгший швейцар, окинув молодого человека подозрительным взглядом. Революционер сунул ему двугривенный и стал подыматься вверх.

В длинных полутемных коридорах гостиницы все еще спало. Валерьян подошел к номеру, в котором жил Высоцкий, и приложил ухо к двери. Там слышалось ровное дыхание спящего. Где-то внизу хлопнула дверь, и кто-то стал подниматься по лестнице. Валерьян осторожно постучал три раза и снова прислушался. Дыхание прекратилось, и послышалось шарканье калош, одетых на босу ногу. Через секунду чиркнула спичка и ключ повернулся в замке. Дверь отворил Высоцкий, в одном белье, с заспанным и недовольным лицом. В зубах его торчала папироса. Увидя Валерьяна, он прищурился и сморщился.

– Что так рано? – зевнул он. – Ну, проходите...

– Дело есть, Валентин Осипович, – глухо проворчал Валерьян, входя и запирая дверь на ключ. Подумав немного, он вынул ключ из замка и сунул в карман.

– Зачем вы это делаете? – размеренно спросил Высоцкий.

– Затем, чтобы нам не помешали, – слегка дрожащим голосом ответил Валерьян. – Я пришел... ну, одним словом, не будем долго разговаривать... Вы провокатор, и ваша песенка спета!

Что-то неопределенное сверкнуло в глазах Высоцкого. Лицо его оставалось спокойным, но пальцы рук нервно задвигались. Он отступил в глубину комнаты и произнес громким, сдавленным голосом:

– Вы – мальчишка и сумасшедший! Убирайтесь вон!..

– Молчать! – заревел Валерьян, и револьвер ходуном заходил в его руке.

– Сорвалось, ага! Скажите только хоть слово!..

Высоцкий покачнулся и упал вперед всем корпусом к ногам юноши. Тот растерялся и в то же мгновение почувствовал, что падает сам. Валентин Осипович схватил его за ноги и с силой дернул к себе. Падая, Валерьян выронил револьвер, и началась отчаянная борьба на полу. Но молодой был сильнее и проворнее старика. Он быстро подмял его под себя и уселся сверху, тяжело пыхтя. Правая рука его шарила по полу, отыскивая упавший браунинг. Наконец полированная рукоятка попала ему в руку.

– Слушайте! – сказал Валерьян. – Я сейчас убью вас!.. Но скажите, откройте мне душу предателя!..

Высоцкий лежал, запрокинув голову, и широко раскрытые глаза его вертелись во все стороны. Тонкая кровяная струйка стекала по виску, оцарапанному при падении.

– Я дам вам тысячу рублей... – с трудом, наконец, прохрипел он, так как левая рука молодого медвежонка лежала на его тонкой, жилистой шее. – Слышите?! Пустите меня!.. Когда я был... слушайте... я вам расскажу!.. в группе старых... народовольцев...

– Эволюция личности, да? – злобно прошипел Валерьян, плохо соображая, о чем говорит Высоцкий. – Подленькая натура у вас, это будет вернее!..

– Вы, вы знаете... правду? – захрипел Высоцкий. – Кто вы – черт вас побери с вашим добром и злом? Пустите меня, паршивый идеалист!.. Вас повесят, слышите вы? Фарисей!..

Сиплый полувизг, полукрик клочками вылетал из его сдавленного горла.

– Застрелитесь сами?! – предложил вдруг Валерьян, красный, как пион.

– Сам?? – Пустите меня! – слышите? Ради матери вашей!..

Валерьян отвернул голову и выстрелил не глядя куда... Эхо зарокотало в коридоре, и тело лежащего вздрогнуло под рукой Валерьяна. Пороховой дым за клубился по комнате... Юноша выскочил и бросился бежать, сломя голову, по лестнице вниз. Она была пуста. Весь дрожа, улыбаясь бессознательной, плачущей улыбкой, Валерьян вышел на улицу и крикнул извозчика.

Через час он был на конспиративной квартире.